

УДК 821.161.1; 82-3

**Н. В. КОРНИЕНКО\***

## **«УПАВШЕЕ НЕБО»: К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ РОМАНА «ГОРОДА И ГОДЫ» К. ФЕДИНА**

В работе исследуется история создания романа К. А. Федина «Города и годы». В Приложениях представлены тексты Федина, которые послужили основой для романа, также анализируются различные источники, оказавшие влияние на формирование этих текстов. Роман не просто одно из иллюстративных произведений об интеллигенции в революционных событиях; показан глубинный смысл его художественного своеобразия и перспектива его развития в последующей литературе: субъективное восприятие героем-интеллигентом окружающей его действительности находится в контексте исканий ведущих русских философов того времени, переводивших разговор о миссии интеллигенции на новый уровень содержания жизни и делавших предметом рефлексии и беспощадного самоанализа собственную мысль интеллигенции о человеке, русской и мировой истории и культуре.

*Ключевые слова:* Константин Федин, «Города и годы», русская литература 1920–1930-х годов, интеллигенция, революция, Старцов, Никита Карев.

О романе «Города и годы» написаны диссертации, опубликованы монографии; библиография статей насчитывает несколько сотен наименований. История восприятия романа — это отдельная большая, сложная и одновременно фантастически интересная тема с очень непростыми вопросами не только к писателю, но и к исследователям русской литературы XX в.

1) Когда роман «Города и годы» ушёл из актуального поля не только филологической, но и литературной мысли и почему это произошло?

2) Как так случилось, что история вокруг публикации романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» заслонила тему глубоких творческих связей и перекличек романов Федина «Города и годы» и «Братья» и романа «Доктор Живаго»?

3) Насколько точен сам Федин в своих поздних высказываниях о романе «Города и годы», что он-де не исправлял его текст? На последний вопрос впервые даёт ответ статья Е. М. Трубиловой, готовящей издание романа «Города и годы» в серии РАН «Литературные памятники» [20, 45–56]. Направления проведённого в начале 1950-х гг. радикального исправления текста

---

\* Наталья Васильевна Корниенко — доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, заведующая Отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Института мировой литературы РАН имени А. М. Горького (Москва, Российская Федерация); [info@imli.ru](mailto:info@imli.ru)

романа «Города и годы» (добавим, что в это же время принимается решение о редактировании романа «Тихий Дон», назначается редактор нового издания романа) позволяют отчасти ответить на первый и второй поставленные нами вопросы. Именно в это десятилетие формируется новая концепция истории советской литературы, в которую, не без помощи проведённой редакторами работы, а также концептуальных построений филологов и критики, вписываются первые романы Федина... Заметим, что именно на вторую половину 1940-х — первую половину 1950-х приходится работа Пастернака над романом «Доктор Живаго». Восприятие Фединым «Доктора Живаго» и его отношение к публикации романа на Западе — это две разные темы, они, естественно, пересекаются, но не тождественны. Суждение Федина о «Докторе Живаго», зафиксированное в дневнике К. И. Чуковского (запись от 1 сентября 1956 г.), является своеобразным камертоном судьбы главного героя первого романа самого Федина — «рохли» Андрея Старцова: «А роман, как говорит Федин, “гениальный”. Чрезвычайно эгоцентрический, гордый, сатанински надменный, изысканно простой и в то же время насквозь книжный — автобиография великого Пастернака. (Федин говорил о романе вдохновенно, ходя по комнате, размахивая руками — очень тонко и пронизательно, — я залюбовался им, сколько в нём духовного жара.)» [25, 240]. Совсем скоро пастернаковский интеллигент Юрий Живаго получит другие характеристики литературной общественности, правда, по масштабу выявленных идеологических пороков Живаго явно уступал обвинениям, предъявленным в 1920-е гг. Андрею Старцову, также автобиографическому и «насквозь книжному» герою романа Федина.

Подчеркнём, что в двадцатые годы мимо романа «Города и годы» не прошёл ни один из ведущих критиков, о нём говорили и писали в русском зарубежье, роман читался и страстно обсуждался собратями-писателями... Это первый русский роман на жгуче актуальную для времени, живую и в некотором смысле сокровенную для каждого писателя — вне зависимости от его политической ориентации (попутчики, пролетарские, внутренние и внешние эмигранты, сменовеховцы и т. п.) — тему самоопределения молодого русского интеллигента нового века в революционной современности. К роману возвращаются и в тридцатые годы, возвращаются, хотя уже написаны «Братья» и бесприютному Старцову, кажется, найден выход. Никита Карев — художник, и хотя он заканчивает свою жизнь, как и Андрей Старцов, на «пустыре», фактически в пустыне полного, почти экзистенциального одиночества, но он композитор. В возвращении на родину его спасение как художника, а в традиции сокровенной связи с русской жизнью, «одушевлении» реальности открываются для Карева не разрывы, а связь современной и исторической России:

«Он не ошибся: источник, питавший его воображение, неиссякаемо бил на родине, там, где он впервые увидел мир, где возникали и забывались первые противоречия любви и жестокости. И он мучительно хотел вознаградить эти камни, деревья, дома, весь этот убогий и милый клочок земли, вознаградить созданием, достойным их расточительности. Он наделял бессловесный, жалкий степной оазис волей и великодушием, он чувствовал себя должником яблоневых садов, тихого, стоячего Чагана, сгнившего крыльца у избы Евграфа, пуганых зарослей луки.

Он думал о родном, о повелевающей силе родного, о том, что созданное человеком создано преемством, и, если сын имеет уши, он должен услышать голос камня, положенного отцом, — и счастлив тот, кто его слышит» [22, т. 2, 210].

Как и герой первого романа Старцов, Карев-музыкант потерял всё, и одновременно он приобрёл весь мир через своё искусство. Дисгармония мира побеждается гармонией созданной им симфонии. Понятно, что это — формула решения самого Федина-писателя, что замечательно прочитал в «Братьях» Борис Пастернак. Письма Пастернака Федину 1928 г. исполнены страстными и откровенными признаниями о близости и «однотипности» материала («Германия, музыка, композиторская выучка, история поколения»); он страшится своей зависимости от найденных Фединым решений («Явился страх (так близок мне Ваш мир), что Вы заподозрите меня в подражании Вам») [8, 164] и не скрывает восхищения найденными в «Братьях» решениями нравственно-этических коллизий, всегда возникающих, когда художник, заключив «добровольную сделку» со своим временем, примиряет в реальности непримиримые стороны и факты, «замирает память» и склоняет «факты» любовью, заботясь лишь об одном — «о восстановлении нарушенной нравственной преемственности» [8, 165–166]. Ответные письма Федина свидетельствуют, что он был несколько смущён и даже насторожен потоком восторженных признаний Пастернака об их близости и общей для них автобиографичности творчества... Действительно, для лирического героя Пастернака 1920-х гг. и фединского Никиты Карева музыка — это высшее искусство... Однако в отличие от поэта прозаик всегда имеет дело с событием, фактами действительности, часто с реальной хронологией, строит сюжеты и персонажей жизни, в общем, несколько по-иному работает над текстом произведения. Заметим, что формула героя-интеллекта «Братьев» Никиты Карева, генетически восходящая к герою первого романа Федина, отличается от него совсем малым: Карев наделён талантом музыканта, и не просто, как Старцов, жил в дореволюционной Германии, но учился там музыке... Во всём остальном рисунок жизни героя в «Братьях» повторяет контуры пути Старцова — как в сфере любовно-лирической, психологической, так и культурно-исторической. Потенциально возможность решения и выхода для героя-интеллекта, найденная в «Братьях», уже существует и в первом романе, но для этого Старцов должен стать художником и некоторым образом повторить путь самого молодого Федина, который начал писать в 1910-е годы (многие его ранние рассказы написаны в Германии)... Такой, в некотором смысле облегчённый — литературно-книжный — вариант пути героя-интеллекта несколько раз возникает в романе. Практически уже на первых страницах из письма Старцова к Мари мы узнаём, что Андрей не смог ответить на вопрос о своей профессии:

«Недавно я хлопотал о каких-то бумагах. Мне задали вопрос: ваша профессия? Я не мог ответить. Мне вдруг пришло в голову: к какой профессии готовился я прежде? Я сбился, вышло глупо» [21, 12].

Примечательно, что первая встреча Андрея и Курта в революционной России начинается с философского вопроса, что такое человек и человечество, перерастающего в тему литературного труда и нового романа:

«— Ты никогда не пробовал писать?»

— Нет, не пробовал, — сказал Андрей.

— Я тоже нет. Но я как-то думал, что романы пишут так же, как строят ящики. Надо, чтобы каждая доска всеми сторонами сошлась с другими досками. Так, по крайней мере, писали романы до войны. Теперь и в романе нельзя, наверно, в одном месте свести больше двух человек разом. Клей не годится, не держит.

— Старый клей? — спросил Андрей.

— Конечно, старый» [21, 282].

Замечательное наблюдение о романе «Города и годы» принадлежит исследователю русской классической литературы (и автору первой монографии о Федине 1934 г.) литературоведу Д. Тамарченко. Если «критерием художественности является степень верности отражения тем или иным писателем существенных сторон действительности», то следует признать, что оба романа Федина не вписываются в эту парадигму реализма, ибо они по-другому написаны и о другом: «... есть такие произведения художественной литературы, в которых это *отношение к миру* является основным объектом изображения (курсив наш. — Н. К.)». Для Тамарченко, как и других его современников, было очевидно, что роман Федина ни к пролетарскому реализму, ни к социалистическому реализму отнести невозможно объективно. О чём роман? — О революции? Нет, утверждает исследователь, потому что ни война, ни революция не показаны в действии, а даются сквозь призму восприятия главного героя — «неопределённой профессии интеллигента — Андрея Старцова» [17, 82], и именно самоанализ и рефлексия этого героя являются сюжетным содержанием и нервом романа.

Часто можно встретить утверждение, что интеллигенция — это часть нации, имеющая самостоятельное суждение, и что в этом-де её ценность и статус. А что, рабочий или крестьянин не имеют самостоятельного суждения и их суждения менее ценны для истории?.. Федин в первом романе идёт на предельное обнажение и заострение самой темы интеллигенции, не даёт Старцову ни литературного, ни иного простого выхода из свода той проблематики русской истории, с которой соотносится само понятие русской интеллигенции и обозначается её место в отечественной истории, прежде всего в революциях 1905 и 1917 гг. Замысел романа об интеллигенции возникает у молодого Федина в знаменитом 1922 г., когда из России в Европу отчалит «философский пароход» с авторами «Вех» (1909) и «Из глубины» (1918), русскими интеллигентами, давшими самый жёсткий анализ «вклада» русской интеллигенции с её идеалами европейского гуманизма в «совершившееся крушение» России. Русские философы предложили перевести разговор о миссии интеллигенции на новый уровень содержания жизни и сделать предметом рефлексии и анализа её *собственную* мысль о человеке, русской и мировой истории и культуре. И похоже, именно эта позиция беспощадного *самоанализа* оказалась наиболее близка Федину.

Мы остановимся на автобиографичности именно этой — рефлексивной — линии романа, обратившись прежде всего к истории его создания — тем материалам, которые входят в генетическое досье романа, а также к биографическому и литературному контексту времени работы над текстом. Судя по признанию самого Федина (запись в дневнике 1928 г.), важнейшим источником в работе над романом «Города и годы» являлись его дневники:

«Первый мой “дневник” — 1913–14 гг., вёл в Москве, на Ордынке. Пожалуй — самые неотступные и болезненные мечтания о литературной работе, о писательстве. <...>

Второй: в Zittau i/Sa, 1915–1918, очень плодотворное время, о германском тыле, роман “Глушь”, рассказы. (Многое — в “Городах и годах”.)

Третий: в Görlitz’e, летом 1918.

Четвёртый: продолжение тетради 1913–1914, вёл в Москве и Сызрани в 1918–19 г. Иногда бывало необъяснимо тревожно (в Сызрани, летом 1919). Тетрадь хоронилась в бане, за кирпичом печного чела.

Пятый: в Петербурге, в 1919–1921 гг. В нём — всё начало “настоящей” литературной работы, весь надлом весной 1921 года (Кронштадт), кое-что о первом периоде Серапионовых братьев, знакомство с Горьким и др. писателями. <...>

Первый, второй, четвёртый, пятый дневники сожжены в 1925 году. Третий потерялся в Германии. Из четвёртого сохранились записки о встречах с М. Горьким<sup>1</sup>.

К автобиографическому материалу, являющемуся частью творческой истории романа, относится публицистика Фебина в газетах Сызрани (1919 г.) и Петрограда (1920 г.). Генетическое досье текста также представляют автограф романа и «материалы» к нему, переданные Фебиным в Пушкинский Дом, переданные, думается, с надеждой, что они когда-нибудь будут прочитаны и введены в научный оборот. Переписка Фебина времени работы над романом (1922–1924) позволяет восстановить основные этапы работы над произведением, отражённые в «Материалах к роману».

Папка «Материалы к роману» частично восполняет материалы утраченных дневников и наполняет реальным содержанием рассказ Фебина о работе над романом «Города и годы», известный по знаменитой и часто цитируемой статье «Как я работаю» (1930). Кажется, Фебин ничего не утаил в рассказе о том, как он написал роман «Города и годы» — «книгу, “отставшую от эпохи”», когда сообщает, что «драгоценнее всего» для него как писателя оказались «клочки и обрывки бумаг, собранные когда-то в Германии и сохранившиеся в ящике стола, да торопливые записи, которые я носил с собою в вещевом мешке несколько лет назад» [24, 116–117]. Читая подобное признание писателя, естественно было задать вопросы: а были на самом деле эти «торопливые записи»? сохранились ли? и главное — о чём они? В поисках ответа на эти простые вопросы я обратилась к материалам, переданным Константином Александровичем в Пушкинский Дом, ознакомилась с ними и поняла, что Фебин в 1930 г. ничего, кроме общих слов на тему «как я работаю», не сказал, а упоминаемые им уникальные материалы творческой истории романа не введены в научный оборот. Судя по листу использования, папку с рабочими материалами к роману брали и читали, правда, не так часто<sup>2</sup>. Почему

<sup>1</sup> Дневник К. Фебина цитируется по авторизованной машинописи, хранящейся в семейном архиве дочери писателя Н. К. Фебиной.

<sup>2</sup> К папке «Материалы к роману “Города и годы”» в 1980-е гг. несколько раз обращалась заведующая отделом новейшей русской литературы Пушкинского Дома Н. А. Грознова, делала выписки для монографии и публикации в журнале «Русская литература» (ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 1166. Лист использования); в 1992 г. (год столетия К. А. Фебина) Наталья Александровна просматривала папку с автографом романа (ИРЛИ. Ф. Р1. Оп. 1. Ед. хр. 124. Лист использования).

записи не публиковались, тоже понятно. Федин — признанный классик соцреализма, уже сложилась и утвердилась концепция эволюции Федина, с акцентом на плодотворные уроки М. Горького, который помог молодому Федину изжить идеалистические представления о России, русском крестьянине и «жалостливой» русской литературе. «Рабочие материалы» к самому идеологически невнятному роману, каким является роман «Города и годы», всем своим содержанием разрушали данные представления о Федине и вносили явный диссонанс в мирный рассказ самого Федина 1930 г. о том, как он писал первый свой роман... Если в оттепельные и «застойные» годы «торопливые записи» к роману не пропустила бы цензура за их «веховское» содержание и антисоветский характер, то в наступившие перестроечные и антисоветские годы этими материалами просто никто не интересовался, так как Федин был «сброшен» с парохода актуальной русской литературы и без особой рефлексии вписан в литературу соцреализма.

Папка с рабочими материалами к роману «Города и годы» позволяет внести значительные уточнения в генетическое досье романа, т. е. более полно представить и описать материалы раннего творчества Федина, которые прямо или косвенно были использованы писателем в работе над романом. К уже ранее отмеченным исследователями статьям, очеркам и рассказам 1919–1921 гг. [26, 267–294] можно добавить рассказы о войне и мире 1915 и 1916 гг., находящиеся в указанной папке (это в основном автографы, выполненные в старой орфографии): «После госпиталя» (апрель 1915), «Патриотическая индустрия» (12 мая 1915), «Настроение» (24 февраля 1916), «Тоска по миру» / «Мира» (13 июля 1916), «Тоска» и др.

Папка с рабочими материалами — это своеобразная записная книжка к роману, хранилище самых разных источников текста; в папке находятся: первые записи к роману; планы композиции романа; редакции и варианты глав и отдельных сцен; наброски к образу Старцова; автографы завершённых и незавершённых произведений; автограф рассказа «Актриса», машинопись опубликованного рассказа «Дядя Кисель» с авторской правкой; немецкие бланки и извещения; вырезки из немецких газет и т. п. Лишь некоторые материалы из этой драгоценной и бесценной папки представлены в нашей публикации: два рассказа 1916 г. (Приложение 1)<sup>1</sup>, первые записи к роману (Приложение 2), автограф не вошедшей в роман главы (Приложение 3), лист с вариантами заглавий романа (Приложение 4). Мы сочли возможным включить в предварительные материалы варианты эпиграфов к роману (Приложение 5), которые находятся в папке с автографом романа.

Сама история написания первого романа, отложившаяся в названных материалах (они, безусловно, ждут самостоятельного описания), весьма непросто переплетается с перепиской Федина времени работы над произведением.

Начнём с датировки работы над романом. Первые упоминания о романе появляются в начале 1922 г. в письме А. Воронскому от 13 февраля 1922 г.: «Я задумал современный большой роман. Он охватит *наши изумительные годы и людей*, каких я видел в Германии, в Польше, на Волге, в Москве и Петербурге. При более или менее благоприятных условиях я окончу работу через год (курсив наш. — Н. К.)» [12, 23]. Сообщение о романе занимает

<sup>1</sup> В Приложение 1 также включена одна статья Федина 1919 г., опубликованная в журн. «Отклики» (Сызрань).

небольшое, но весомое место в письме, в целом посвящённом ситуации отношений серапионов с петербургскими «стариками» и Е. Замятиным, от которых Воронский старался оторвать молодых писателей... Красочное художественное определение времени «наши изумительные годы» вписывается в контекст выработки в 1921–1922 гг. серапионами, в том числе и молодым Фединым, стратегии-тактики отношения с влиятельным московским чиновником, поставленным новой властью управлять современной литературой. К роману «изумительные годы» не имеют никакого отношения: там эта эпоха и её герои предстают скорее отчаявшимися «детьми страшных лет России» (А. Блок)... Контекст упоминания о работе над романом важен и при чтении других писем Федина 1922–1924 гг.

В письме к Горькому от 28 августа 1922 г. с подробным и даже несколько весёлым рассказом о жизни серапионов, о том, кто из них над чем работает, о себе Федин сообщает в общем ряду: «Точно сговорившись, все мы засели за “романы”. <...> я — роман о войне и революции» [12, 40–41]. Из письма можно понять, что Федин «бьётся над поисками формы» романа, её адекватности содержанию: «Очевидно, одно и то же можно сказать по-разному. А раз так — как идти, чтобы не сорваться в пропасть?» [12, 42]. Именно этот присокровенный вопрос, на который, кстати, Горький не будет отвечать, нам представляется, имеет отношение не столько к проблемам формотворчества, а к самым что ни на есть насущным вопросам жизни человека и культуры, которыми в августе жил весь Петербург. Весёлая интонация в письме безусловно также имеет свои веские причины. 28 июня в статье Воронского, опубликованной в главной газете страны, «Правде», четверо серапионов — Вс. Иванов, Н. Никитин, К. Федин, М. Зощенко — названы надеждой новой русской литературы, идущей на смену эмиграции и прежним «властителям дум». 28 июля В. Каверин на открытом собрании Серапионовых братьев, посвящённом столетию Гофмана, делает доклад «Речь к столетию со дня смерти Э. Т. А. Гофмана» — о «великом писателе Запада», который доказал, что «магия невероятного живёт рядом с нами» [5, 22–24]. 1 августа выходит третий номер журнала «Литературные записки», в котором печатаются дерзкие, ироничные и даже весёлые автобиографии серапионов и статья Л. Лунца «Почему мы Серапионовы Братья». В центральных московских и петроградских газетах начинается обсуждение выступления молодой группы... Эти бурные литературные события разворачиваются на отнюдь не весёлом, а скорее трагическом фоне петербургской реальности, когда, перефразируя строки Федина, можно было легко «сорваться в пропасть», причём не метафизическую, а самую что называется реальную.

Август 1922 г. оказался для Петрограда не менее мрачным, чем август 1921 г. (смерть Блока, расстрел Гумилёва). Завершился начавшийся в мае суд над митрополитом Петроградским Вениамином и его паствой. Каждый день «Петроградская правда» в специальной колонке «Суд над церковниками» сообщала о работе революционного трибунала, обрушивая на читателя потоки сфабрикованных обвинений: «Это суд над старой церковью, крепко спаявшей себя с российской контрреволюцией, суд над церковью, которая после разгрома белогвардейщины продолжает под сенью креста контрреволюционную работу Колчака и Деникина» [13, 1]; «Вениамин Петроградский раскладывает костёр гражданской войны в стране, самозвано выступая против близкой к

народным низам части духовенства (речь идёт о послании митр. Вениамина к православной пастве, в котором была осуждена “обновленческая” церковь, а возглавивший обновленчество прот. А. Введенский был отлучён от церкви. — *Н. К.*) Карающая рука пролетарского правосудия укажет ему его настоящее место» [14, 1]); «Церковь “православная” не выдержала испытания. Она провалилась. Она избалована. Она — преступница. По делам и воздастся её преступным “апостолам”» [15, 1]. 6 июля «Петроградская правда» извещала читателей о вынесенном трибуналом приговоре: к высшей мере наказания были приговорены 22 человека. В ночь с 12 на 13 августа митрополит Вениамин был расстрелян (прославлен в лике святых в 1992 г.). В подобной же стилистике освещался и другой, не менее громкий процесс — процесс эсеров: «Контрреволюция стоит перед судом Революции. Как ни извиваются предатели и убийцы, им не избежать тяжёлой руки пролетарского правосудия» [16, 1]. 7 августа поздно вечером, на 49-й день процесса, верховный трибунал объявил приговор по делу петербургских эсеров (суды над эсерами шли не только в столицах, но и в других крупных городах). 11 августа все центральные газеты печатают речь Г. Зиновьева «Возрождение буржуазной идеологии и задачи партии», с которой он выступил на Всероссийской партийной конференции (открылась 4 августа), и принятую конференцией резолюцию. 29 августа на пленуме Петросовета глава питерских большевиков Г. Зиновьев, один из инициаторов высылки русских философов, формулировал вопрос идеологии — для бывшей столицы Российской империи и её представителей: «Арестовывая и высылая враждебных нам интеллигентов, мы знаем, на что идём. Особенно это относится к Петрограду, в котором много интеллигентных сил и где имеется масса учёных и учебных заведений. <...> значение акта, предпринятого против части интеллигенции, можно кратко сформулировать словами, что — “кто не с нами и не хочет помогать возрождению России, тот против нас”» [16, 3].

Записи, которые мы даём в Приложении 2, относятся именно к 1922 г. Очевидно, что в контексте уничтожения старого Петербурга и нужно читать сохранившиеся первые записи к роману (это 9 листов одного формата). Запись на л. 1 «Начато в мае месяце 28 числа 1922 года» с тремя заглавиями романа — «Зачатье», «Семь лет», «Проволочный человек» — отмечен первый подступ к роману (л. 1–2). Признание Старцова «Моя вина в том, что я не проволочный» [21, 13] (первая глава романа «Глава о годе, который завершил роман»), — появляется в его исповедальном письме к Мари, являющимся важнейшим историко-философским метатекстом всего романа. Письмо Старцова датировано 13 июня <1921 г.>.

Записи насыщены интеллектуальной атмосферой Петрограда 1922 г., философскими вопросами культуры, наполнены бытийной трагедией России, «достоевскими» темами и героями, той метафизикой русской истории, вокруг которой разворачивались идейная схватка и шли политические баталии в первый год нэпа. Вопрос нового человека из сферы интеллектуально-дискуссионной и литературной (теории «производственности» Пролеткульта, «жизнестроения» футуристов, «Восстания культуры» А. Гастева, «Заката Европы» О. Шпенглера и др.) перешёл тогда в самую наипрактичную и современную. Власть не скрывала откровенно атеистического характера новой идеологии, презрения к исторической и литературной традиции России, ути-



литарного отношения к вопросам культуры: «1) переделка самой психологии человека; 2) соединение марксистской теории с американской практичностью и “делячеством”; 3) уничтожение гуманитарного направления в образовании и замена его техническими практическими знаниями; 4) замена универсализма специализацией; 5) физическая, волевая и умственная тренировка человека» [3, 3]. Это не краткое изложение проекта Великого Инквизитора («Братья Карамазовы») или труда Шигалёва («Бесы»), а тезисы доклада одного из вождей и теоретиков нового государства, опубликованные в начале 1922 г. на страницах газеты «Правда». Упоминание «шигалёвщины» в фединских записях о новом человеке вполне вписывается в философский контекст первого романа. К «общественной формуле» исторического прогресса Шигалёва — «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» [4, 311] — в эти годы не раз обращались русские философы в своих размышлениях о «духах» русской революции, «крушении гуманизма», «бесноватости русских революционеров» и антихристианских основах «социалистического муравейника»: «Все русские революционеры-максималисты смотрят так, как смотрел Шигалёв, все ждут разрушения старого мира послезавтра утром. И тот новый мир, который возникнет на развалинах старого мира, есть мир шигалёвщины» [1, 89].

Упомянутая в записях к роману статья с евангельским заглавием «И на земле мир...» (1919) также указывает на глубинные связи философских исканий молодого Федина с русской религиозной мыслью XX в. Философско-публицистические статьи Федина 1919 г., с их «сомнительной философией» (по характеристике Горького) и «остатками ошибочных идеалистических концепций» [26, 276], отзовутся в большом своде «проклятых» вечных вопросов жизни и культуры, вопросов Достоевского и Толстого, которыми мучится и от которых так и не сможет отказаться герой («рохля») Старцов и автор. «Победа достигнута, но благоденствия не наступило не только у немцев, но и у англичан, французов и прочих «победителей. <...> Все страны оказались инвалидами, нуждающимися в лечении. Победителей нет» (статья «Версаль — этап мировой революции», 1919); «...мировая война вскрыла вены, и кровь хлещет из них, как из рукава» (статья «И на земле мир...», 1919) [26, 271]. Это — из публицистики Федина 1919 г., в которой язык официальной идеологии («мировая революция») во многом поглощается и преодолевается языком русской литературы, а мировая революция мыслится не как перманентная гражданская война во всём мире, а как всеобщий мир после кровавой бойни мировой войны. Этими мечтаниями о мире живут в германском плену мужик Лепендин и интеллигент Старцов, своеобразные литературные двойники толстовской пары в романе «Война и мир» (Пьер Безухов и Платон Каратаев в плену у французов). Толстовскими и достоевскими вопросами войны и мира болеет сам автор романа, о чём и говорят его записи и пометы на полях страниц рукописи романа. Мы приведём лишь некоторые из этих авторских комментариев разной направленности.

Две страницы с записями под эмблематическим названием:

«Основное

Нужно, необходимо что-то сделать, чтобы не было страданий.

Война ужасна.

Война — позор, крах, зло [*цивилизации*], проклятие!  
Пока война — нет ничего, не о чем спорить, нечего добиваться.  
Революция — борьба со злом, позором.  
Революция — протест против страдания!  
Вот почему —

Ещё ничего не кончилось.

Старцову, поэтому, нужно видеть страдания, чтобы загораться ненавистью и идти в революции самой — страдание и это отталкивает Старцова и он нигде не может жить органически, войти в жизнь, свариться с нею, как сваривается гвоздь или болт с обломками железных рельсов.

Так он и бежит!

[*В наше время надо уметь погибать — больше ничего.*]»<sup>1</sup> (Л. 77–78).

Вновь и вновь Федин возвращался к «основной» теме романа — войны и мира в новом веке. В папке сохранилось огромное количество записей с вечными вопросами к этой вечной теме человеческой истории:

«К гл. I о 1914.

В Германии — почему все обрадовались войне? Не потому ли, что она разбила невыносимые условия обычной жизни, быта и вдохнула в каждую душу — замурованную в стену цивилизованного рабства — надежду на... что? Надежду на что-то!» (Л. 13);

«Он вечно разгадывает — как могло случиться, что человечество ввергло себя в войну. И его не успокаивает никакая разгадка.

Вся революция покрывается войной.

Война — это главное событие, она — всё.

Человек, который был потрясён (поражён) войною, раз и навсегда выбывает из строя обычных людей. Его воображение поражено язвой. Она неизлечима. Такой человек вечно думает о войне. Он пропитан ею, как море пропитано солью. Отнимите от него эту его вечную думу о войне — его существование потеряет смысл.

<на обороте листа:> Тем, что я написал этот роман, я обязан двум своим дурным качествам: лени и упрямству» (Л. 27–27 об.);

«1919

С тех пор, как на яблоне повесили человека, она перестала цвести» (Л. 50).

Некоторые из записей Федина приоткрывают лабораторию рождения его математически точных и блистательных формул. К примеру, эта запись: «Газеты — насекомые = распространители эпидемий» (Л. 33), представляющая формулу любой агитпропаганды, появляется на полях большого «документа» из эпохи Гражданской войны, со всеми характерными для него темами, интонациями и клише:

«Из резолюции, помещенн. в “Изв. Семид. Совета” после разгрома белых:

“Приветствуя полное поражение и разгром белогвардейцев, которые предательски из-за угла занесли руку на наш уезд и подняли кулаков-пайков

<sup>1</sup> Материалы к роману К. Федина «Города и годы» // РО ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 1166. Далее материалы из данной папки цитируются по данному источнику с указанием листа в тексте статьи. Фрагменты печатаются по нормам современной орфографии, авторская пунктуация сохраняется. Сокращённый текст даётся курсивом и заключается в прямые скобки [ ], новый вариант или вписанные сверху слова даются полужирно. Сокращения, если они легко прочитываются, сохраняются; при раскрытии сокращений используются угловые скобки <>.

Саньшинской волости в лице товарищей, которые приняли участие в разгроме названных зелёных банд. Мы клеймим позором и пролетарским проклятием всех, кто осмелится помешать мирному восстановлению труда, которому мешает из злобы и ненависти буржуазия. Но мы не боимся её угроз. Победа недалеко и за нами.

Общими усилиями мы прорубим второе окно — в Европу и Америку, как хотел сделать Пётр I, но у него это было с враждебной целью пролетариату. Красный Семидол рука об руку с мировой революцией протянет руку народам Востока, Запада и Северной и Южной Америки, чтобы раз <i>и</i> навсегда сказать обнаглевшей буржуазии — руки прочь! Мы не позволим устраивать заговоров против власти мозолистого рабочего и бедняков-крестьян! Да здравствует Красный Семидол! [*Да здравствует мировая революция!*] Да здравствует полная победа пролетариата» (Л. 33).

Этот микросюжет, в котором безусловно нашла отражение собственная журналистская работа в 1919 г. в сызранских «Известиях, будет преобразован, и в окончательном тексте от него останется только упоминание о «воззвании семидольской ревтройки» и замеченной Голосовым в гранках опечатке в последней фразе воззвания: «Да здравствует победа рабочих и крестьян во всём пире» [21, 355]. Приведённая формула выражает отношение автора не только к данному воззванию (известно, чем занимались ревтройки), но и к другим текстам подобного типа, в частности, к тексту воззвания «друга мордовского народа» Шенау.

Записи для себя на листке из школьной тетради в клетку посвящены анализу «каратаевского» и «карамазовского» начал в Старцове.

«Старцов

А с моим маленьким добрым, куда я?

<...> Повесят белые безногого, а это вдохновит Старцова, будет за “правду” биться. А без “науки белых” (ужасы и несправедливость) Старцовы биться не умели. Бились только продкомиссары, Голосовы да Лейтсины<sup>1</sup> (последние научены были ещё прежде)» (Л. 52).

Несмотря на то что Евангелие в записях пишется Фединым по новой орфографии, евангельские темы истины, идеала, оправдания добра, любви, страдания, преступления, наказания и покаяния остаются главными для самого Федина и героя его романа. Характерная «запись для себя» на крохотном фрагменте листа: «1920 = А я не могу до сих пор пройти мимо нищего, чтоб не подать ему...» (Л. 68) войдёт в самохарактеристику Старцова в его знаменитом диалоге с Куртом о ненависти и любви:

«— Ужасно. Этот призрак заслоняет собою всё. Голод! Чтобы переступить через него, нужно быть очень смелым. И что за ним?

— Эх ты, революционер! Стыдно, Андрей.

— Я — революционер? Мне до сих пор совестно пройти мимо калеки, не подав ему милостыни» [21, 284].

На альбомной странице с записями «К похоронам профессора д/последней главы» после зарисовки бытовой картинки из жизни Петрограда 1920 г. записаны слова из покаянного псалма царя Давида (Пс. 50, 19):

<sup>1</sup> В окончательной редакции Лейтсин будет заменен на Покисена; страницы с исправлением имени героя находятся в автографе романа (РО ИРЛИ. Ф. РІ. Оп. 1. Ед. хр. 124).

«Песня о могильщиках»

Отводились участки кладбища — кресты — на продажу на топливо.

Жертва Богу — дух сокрушён, сердце сокрушённо и смиренно — Бог не уничтожит (Из Псалмов Давыдовых)» (Л. 18).

Большое место в материалах к роману занимают страницы с набросками сюжетной линии Старцова и Мари, также, как известно, в основе своей автобиографической. В планах 1922–1923 г., когда роман ещё мыслился с заглавием «Семь лет», не было ещё подглавки «Формула перехода» и 1-я глава включала только две подглавки — «Речь» и «Письмо» (листы с заглавием «Распределение по главам и подглавам и порядок глав романа “Семь дней”», л. 11). По этому замыслу Мари приезжает в Петербург летом 1920 г. на Второй конгресс III Интернационала:

«40. Ленин и Мергес на II конгрессе III Интернационала.

41. Мари приезжает вместе с Мергесом<sup>1</sup> и др. делегатами» (Л. 11).

Федин перебирает несколько вариантов в развитии любовной сюжетной линии. В самых разных вариантах в записях представлена тема отъезда Старцова в Германию:

«Андр. — Я уеду, уеду! Нужен конец! И он уехал. Уехал через два года — разбитый, усталый, ненужный — за своим концом. Но об этом мы знаем из рассказа о годе, который завершил роман» (Л. 11 об.).

Федин пробует в деталях описать встречу Мари с Андреем и Ритой, но, прописав её, отказывается от подробностей и набрасывает сцену ухода Мари, оставляя на полях свои комментарии:

Уходит от него.

— А он — разбитый временем и обескровленный, полупомешанный — едет за ней (весна 22 — пролог романа) с Куртом, которого встречает случайно в Пб. («Речь», «Письмо»).

М. б. Где-нибудь умирает в России? (Пропадает) Ведь она приехала, как зверь, бегущий преследователя, севером, через Скандинавию. А Андрей едет к ней в 22 году. (Л. 12 об.)

Несколько раз Федин переписывает письмо Старцова Мари, при этом во всех вариантах этот текст остаётся трагическим и безысходным по содержанию:

---

<sup>1</sup> Второй конгресс III Интернационала — одно из центральных событий 1920 г. Ещё шла Гражданская война, а в стране уже готовился грандиозный всемирный «пролетарский праздник». На страницах «Петроградской правды» печатаются сообщения о прибытии иностранных делегаций, программа грандиозного «церемониала» шествий в день открытия конгресса, которое прошло в Петрограде 19 июля. Август Мергес — делегат от Коммунистической рабочей партии Германии на конгрессе, чья позиция разошлась с московским руководством Коминтерна по вопросу о скорейшей революции в Германии (См.: Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) и Коминтерн. 1919–1943. Документы. М., 2004. С. 51, 69). В июле 1920 г. Федин встречался и беседовал с Мергесом; основные вопросы беседы — положение в «униженной» Антантой Германии (Версальский договор 1919 г.), предреволюционная ситуация в стране: «Власть лежит в Германии на улице. — Скоро её поднимет германский пролетариат» (Германия сегодня (Из беседы с тов. Августом Мергесом) // Петроградская правда. 1920. 8 июля. С. 1. Подпись: *Пётр Швед*).

«[Мне некуда больше идти.] Но только одна дорога осталась мне — дорога к тебе.

Вот лежат позади меня годы, которые бился я, чтобы жизнь приняла меня. Смотри, вот сочится из-под ногтей моих кровь: это я царапал двери, как пёс, чтобы открылись они.

Будет гадко, если ты пожалеешь меня. Я не хочу. Не надо. <...> Но выслушай. И не кричи, о, не кричи, как тогда!

Я всё ищу [какое-нибудь] слово, каким можно передать тебе всё. И слова нет. Надо рассказывать по порядку. С этим я приду к тебе.

А сейчас (Фраза не завершена. — Н. К.)» (Л. 21);

«В Письме!

Все эти годы смешались для меня, слились, как лигатура с благородным металлом, в одно сплошное — страдание. Но за страданием все эти годы необъяснимый подъём и небывалая жажда жить — подъём, какого никогда не было» (Л. 34).

С вариантом гибели Мари в Петрограде соотносится и другой вариант конца романа в новой структуре романа, более близкой к окончательной (Л. 36–37 об.):

«Конец романа

Но конец его (Старцова) произошёл в год, который не участвует в этом романе.

Насколько же он (А. Старцов) счастливее нас, что не узнал о смерти Мари.

На этом месте нужен эпилог. Но всё, что мы могли бы сказать о конце Андрея, рассказано нами в прологе и мы только позавидуем ему» (Л. 37 об.).

Но и это ещё был не конец романа. Федин напишет другую, более оптимистическую историю Мари и сделает ещё не один набросок с записью «Конец». Приведём ещё один набросок, сделанный на листах из записной книжки с записью «Конец», и представляющий один из вариантов финала романа (в издании подглавка «Мы квиты, товарищ Старцов» заключительной главы романа):

«Как это странно. Вот мы кончаем повесть о человеке, который неустанно стремился к делу и который ничего в жизни не сделал... Мимо него прошли люди.....

Доброй воли не достаточно, чтобы принять участие в этой жизни. Нужны ещё (м. б. больше) простые, неказистые качества, помогающие столяру делать столы, химику — краски, механику — моторы.

Нам нужно пожалеть Старцова не только потому, что ему не суждено принести пользу, но и потому, что это трагично — хотеть и не мочь.

М. б. и Курт пожалел его, помогши уйти ему со света??» (Л. 74).

Здесь произнесена очень важная для новой молодой русской литературы характеристика эпохи «семи лет» как трагической. «Это трагично» Федина весьма близко по интонации и пафосу размышлениям А. Толстого лета 1922 г.:

«Новая личность *сострадательна* с революцией, или соокаянна с ней. <...>

Жестоко и мужественно новый русский поэт и прозаик не отделяет себя от русского, трагического бытия.

Трагичность, мужественность, страстность (уклон в фантазию, романтизм), жестокость и, очень часто, цинизм, — вот намечающаяся характеристика новой русской литературы.

На крови и бедствиях заложен фундамент, на котором строится новый храм трагедии. Фундамент трагедии — миф. Фундамент новой, русской трагедии — миф революции: её роковая последовательность, её противоречия, её высоты и бездны, её обольщения и непереносимый ужас, её сложная, многоголосая, как фуга, сама себя уязвляющая, иступлённо творческая, славянская душа. Её неотделимое участие в совершающемся.

<...> Они же, новые писатели, — дети полей войны. А на полях войны — нет прикрас: грязно, кроваво, честно и мужественно.

И ругаются на полях войны военными, нечеловеческими словами.

<...> В поэзии — трагический диалог. В прозе — диалог рассказчика, повествователя (крутой поворот к Гоголю, к Гофману)» [18, 5–6].

Обратим внимание на приведенную в Приложении 2 запись к роману: «Андрей Старцов (“Mitläufer”; центр романа)». Взятое в кавычки немецкое слово в переводе означает важнейшее политическое понятие, которое в 1922 г. было введено Л. Троцким и стало одним из базовых в литературно-политическом языке первого советского десятилетия: «попутчик». Ещё один контекст прочтения романа как энциклопедии попутчика, идеологический портрет которого был дан в статье Л. Троцкого «Литературные попутчики революции» («Правда». 1922. 3 октября):

«Они не охватывают революции в целом, и им чужда её коммунистическая цель. Они все более или менее склонны через голову рабочего глядеть с надеждой на мужика. Они не художники пролетарской революции, а её художественные попутчики в том смысле, в каком это слово употребляется старой социал-демократией. Если внеоктябрьская (по существу противооктябрьская) литература есть умирающая литература буржуазно-помещичьей России, то литературное творчество “попутчиков” есть своего рода новое, *советское народничество*, без традиций старого народничества и — пока — без политических перспектив. Относительно попутчика всегда возникает вопрос: до какой станции? Этого вопроса нельзя сейчас, однако, предпретить и в самой приблизительной степени» [19, 56].

Старцов — трагическая фигура, и стоящая за ним философская, литературная, этическая традиция не фикция, а реальность, без которой мир проваливается в «шигалёвщину». Миру не хватает любви евангельской, той любви к маленькому человеку, которой был наделён толстовский Каратаев и которую исповедовала русская классическая литература. Риторический вопрос о Курте будет переформулирован в жёсткое рациональное умозаключение, которым завершается роман: «Когда же наступил этот год, Курт сделал для Андрея всё, что может сделать товарищ, друг, художник» [21, 408].

В 1922 г. роман ещё мыслился с посвящением Серапионам и, очевидно, летом появилось ещё одно его заглавие — «Ещё ничего не кончилось». Именно это заглавие представлено в публикации фрагмента из романа в сменовеховском журнале «Россия» (1922. № 4): «Как это по-вашему? (Из романа “Ещё ничего не кончилось”))». Тёплые и ободряющие слова шлёт Федину Борис Пильняк в письме от 23 декабря: «...прочёл я твой отрывок в “России” — прекрасно, больше ничего не скажешь. Если весь роман будет так написан, это будет событие...» [7, 519]. К сожалению, не сохранилось датированное маем 1922 г. письмо Федина Пильняку; оно было посвящено роману, о чём мы знаем по цитате из майского письма Пильняка: «...пишу,

“беременен романом — про бульвар, про Германию, деревню Усолье, про газетчиков и прах знает про что” (это фраза в кавычках — твоя фраза)» [7, 453].

Заглавие «Ещё ничего не кончилось» является прямой цитатой. Это финальная фраза мемуарно-автобиографической книги В. Шкловского «Революция и фронт», вышедшей в 1921 г. и представляющей первую часть «Сентиментального путешествия». Хронологически события в книге Шкловского развиваются с февраля 1917 по 19 августа 1919 г. и представляют картину столичной и фронтовой жизни России, увиденной глазами эсера и филолога-интеллигента. «Эпоха всеобщего беженства» [2, 167] (определение С. Булгакова, 1918) представлена Шкловским в переплетении почти документальной хроники с событиями его личной жизни: «Интеллигенция оказалась в бегах» [28, 32], «Россия горит. Мы бежим» [28, 41]. В начале 1922 г. «в бегах» оказался сам Шкловский. В Петрограде шли повальные аресты и подготовка к открытым судебным процессам над церковниками и эсерами. Шкловскому удалось бежать в Финляндию. Это была самая близкая дорога из Петрограда в Европу: в 1921 г. в пограничный город Териоки (с 1917 по 1939 — в составе Финляндии) по льду из Кронштадта пришли 8 тысяч беженцев. «Я убежал из России 14 марта. Меня ловили по Петербургу с 4 <по> 14 марта. Сейчас нахожусь в карантине в Финляндии» [29, 30], — сообщал Шкловский Горькому в письме от 24 марта 1924 г. 2-я часть «Сентиментального путешествия» под заглавием «Эпилог (Конец книги “Революция и фронт”）」 вышла перед побегом из Петрограда, в феврале 1922 г., 3-я часть «Письменный стол» — в составе всей книги в январе 1923 г. [28, 397–398]; она начинается с указания точной даты: «Начинаю писать 20 мая 1922 года в Райволе (Финляндия)» [28, 142]. В отличие от Шкловского фединскому Старцову не удалось в 1922 г. покинуть Петроград и миновать разворачивающийся там террор, процесс над ним не был открытым, его вообще не судили, а самосуд большевика Курта, покаравшего предателя Старцова, был оправдан не только ревтрибуналом, но и современной революционной литературой, героизирующей образ чекиста. Упоминаемые в письме к Виктору (Приложение 3) Териоки выступают в тексте Федина как символический хронотоп эмиграции (в Териоках находился дом Леонида Андреева, невольно оказавшегося в эмиграции).

Поразительная параллель возникает при сравнении писем Шкловского Горькому из Финляндии с подготовительными материалами Федина к роману. Оказывается, именно весной 1922 г. рождается у Шкловского замысел романа о современности, которым он делится с Горьким. Это письмо Горькому представляет оригинальное эссе на тему современного романа о современности:

«Я расскажу Вам про роман, который я напишу, если оторвусь от преследования и буду иметь месяц-два свободных.

1) Идут передовицы “Правды” и передовицы буржуазных газет, прямоугольные до безмысленности.

Иногда эта прямоугольность огненная. Идут списки расстрелов, цифры смертности.

Передовицы прямоугольно отрицают друг друга.

2) Между ними идут письма к Вам. Записки, письма, записки. Идут Ваши письма (дружеских нет), но больше записки “прошу выслушать такого-то”, “прошу не расстреливать такого-то”, “прошу вообще не расстреливать”.

Потом между этим советские “анекдоты”.

Моя маленькая (7 лет) племянница плакала в церкви. Мы знаем, что плачущего нельзя спрашивать. Потом спросили дома “почему”. Она ответила: “Я не знаю, где могила папы” (Николай расстрелян), где “тёти Женина могила знаю, а папиной нет”.

О, дорогой мой, о друг мой, как горек от слёз воздух России.

О счастье наше, что мы заморожены и не знаем, как безнадежно несчастны.

Идут передовицы прямоугольные, декреты, и все они отражаются то в письмах, то в маленьких отрывках из маленьких человеческих жизней. Тюрьмы, вагоны, письма и декреты.

Вы в этой вещи не вы, а другой.

Я не знаю, как кончить. Кто-то, правозащитник и кто пишет всем отпусную, какой-то последний из раздавленных или Вы сами, на чьём сердце скрещены два меча, пишете миру письмо о прощении.

Прощаю себя за то, что смеюсь, за то, что бегу от креста, прощенье Ленину, прощенье Дзержинскому, красноармейцу, издаваемому в вагоне над старухой, красноармейцу, взявшему Кронштадт, всему племени, продающему себя. Всем себе-иудам.

У меня нет никого. Я одинок. Я ничего не говорю никому. Я ушёл в науку “об сюжете”, как в манию, чтобы не выплакать слёз. Не будите меня» [29, 33].

Но Шкловский не был бы формалистом, если бы в конце этого пронзительного и почти исповедального текста он не написал: «Романа же я не напишу» [29, 34].

«Первый Серапион»<sup>1</sup> был всего на год младше Федина, оба были гуманистами, оба прошли через мировую войну, общим был Петроград 1919 года, голод и утрата самых близких людей, беженство и плен... Пропагандируемый теоретиками-серапионами авантюрный сюжет реализован у Шкловского в «Сентиментальном путешествии» в логике или антилогике самих исторических событий, свидетелем и участником которых был сам повествователь, являющийся и объектом, и субъектом рассказа-повествования. «Мысль бежит и бежит по земле и всё не может взлететь, как неправильно построенный аэроплан», и тут же: «Жизнь течёт обрывистыми кусками, принадлежащими разным системам. <...> И с осколками своей жизни стою я сейчас перед связным сознанием коммунистов» [28, 186] — в этих коллизиях и противоречиях, в которых пребывает повествователь в «Сентиментальном путешествии», заключается притягательность книги Шкловского и её жанровое своеобразие...

Зачастую, говоря о Шкловском, мы чаще помним об «обнажении приёма», «остранении» и пародии (иронии), и забываем, что созданное в 1919–1922 гг. «Сентиментальное путешествие» является подтверждением другой историко-теоретической концепции Шкловского — о приоритете нелитературного материала (будущая «теория факта») в современном литературном процессе. Никому из своих современников, в том числе серапионам, Шкловский не советовал писать роман. Федин, пожалуй, первым из серапионов открыто объявляет о работе над романом и посвящает этому событию отдельную главу романа «Глава, которая совсем не нужна читателю» (Приложение 3). В самом ироническом характере заглавия главы, которая не войдёт в окончательный текст романа, содержится элемент литературной игры. Глава построена в

<sup>1</sup> В книге «Горький среди нас» Федин назвал Шкловского «первым Серапионом — по страсти, внесённой в нашу жизнь, по остроумию вопросов, брошенных в наши споры» [22, т. 3, 199].



форме письма к Виктору (Шкловскому). Текст, вероятно, более позднего времени написания (конец 1922 — начало 1923). В главе отражено «настоящее мученье» в поисках формы и одновременно «распутье» в отношениях с теориями серапионов, о котором Федин пишет Соколову-Микитову 19 сентября 1922 г. Диалог с Шкловским продолжится после публикации романа «Города и годы», о котором «дорогой Виктор» выскажется достаточно критично, и с точки зрения его формы (старые-де приёмы), и исповедуемого им после возвращения в советскую Россию социального заказа [27, 288, 514]. Теперь, зная о замысле самого Шкловского 1922 г. написать роман о современности, можно сказать, что его критические, порой язвительные высказывания о романах его современников (К. Федина, Л. Леонова, М. Булгакова) были пристрастны и не лишены художнической зависти: они фактически сделали то, о чём он мечтал, соединили в различных конфигурациях несоединяемое — жестокую хронику истории и лирическую исповедальность, литературную традицию и современность.

Однако вернёмся в 1922 год, когда и для Федина, и для Шкловского вопрос о романной форме отнюдь не исчерпывался формальными проблемами. У Федина в это время уже была написана и опубликована («Литературные записки», 1922, № 3) его автобиография, которую можно рассматривать как ещё один подготовительный материал к будущему роману. В главах автобиографии («Школа», «Студенчество», «Революция») отмечены основные вехи пути не только Федина, но и будущего автобиографического героя. Выполненная в привычном для серапионов ироническом стиле автобиография представляет в некотором смысле текст жизни, который будет подвержен жёсткому и беспощадному анализу в работе над романом.

Письмо Федина к П. Зайцеву от 20 октября 1922 г. является по сути дела официальной заявкой на роман и включение его в планы издательства; так этот текст и нужно читать: «Роман называется “Ещё ничего не кончилось”. Размер — от 12 до 14 листов (в 40 000 знаков). Эпоха — война и революция. Место действия — Германия и Россия. Отдельные главы посвящены Петербургу (1919), Москве (1918), немецкой провинции (1916, 1917), Нюрнбергу (1914) и т. д. Участники — красные и белые, коммунисты и маркграфы, инвалиды, артистки, лётчики, попы и монашенки, крестьяне и помещики, башкирские кавалеристы и академики. Материал — быт. Сюжет есть (в двух параллельных плоскостях: романической и историко-бытовой)» [23, 542]. Судя по письму Соколову-Микитову от 7 декабря 1922 г. осенью и зимой Федин над романом почти не работал, нужно было зарабатывать средства для пропитания и содержания семьи: «Роман я свой оставил. Надо было достать денег. Много денег. Я взялся за переделку романа Гюго — “Отверженные” — для частного издателя. <...> Но что делать? Что делать, чёрт побери! Подумай, это случилось в разгар моей работы над романом, который я как-то полюбил. <...> Друг мой, ведь надо быть дубиной или каким-то механизмом, чтобы после переделки “Отверженных” сейчас же сесть за свой роман! — Словом, мне трудно материально» [11, 23–24]. Здесь важна не только информация к уточнению хронологии работы над романом, но и сам факт перечитывания одного из самых пронзительных европейских романов о страданиях бедного маленького человека, о любви и прощении, возмездии и праведниках. Два эпиграфа из «Отверженных» (в дословном переводе — «Несчастные, нахо-

дящиеся на краю горя и нищеты») появляются именно в 1923 г., когда роман ещё носит название «Семь лет».

1923 год начинался с новых планов по завершению романа, главы из которого читаются Фединым на собраниях серапионов. Роман становится одной из домашних тем в переписке серапионов. 14 января Вс. Иванов сообщает Горькому своё впечатление от романа Федина: «Хороший роман пишет Федин. Здорово насадил — и сентиментальное есть, а я, грешный, люблю сентиментальное, да коли ещё, прохвост, улыбнётся ещё... конец! Здорово. Хорошо. Вообще он человек размеренный — ему бы протопопом быть, а он вылитый Мозжухин» [12, 85–86]. 24 января делится с Горьким своими впечатлениями о писаниях серапионов Л. Лунц, о Федине: «Федин пишет сейчас большую повесть (называет её роман — неверно). Судя по прочитанным отрывкам, это будет превосходная вещь. В Федина я очень верю. Он пишет дольше нас всех, медленней всех, но работает верно и твёрдо. С каждой новинкой — шаг вперёд. Особенно люблю его спокойный язык без вывертов. Хотя в общем, конечно, его манера письма мне чужда» [12, 89]. В письме Вс. Иванова к Федину от 9 апреля в шутовском обыгрывании то ли названия романа, то ли одного из эпиграфов (см. Приложение 5) кроется вопрос, интересующий всех братьев-серапионов: «Как твой роман? <...> под эпиграфом — “он когда-нибудь окончится”?» [12, 104]. 9 октября Каверин сообщает Лунцу: «Костя кончает роман» [12, 176]. 17 октября Лунц в письме Федину интересуется окончанием романа: «Сильно интересуется меня, как подвигается твой роман. <...> Кончаешь? Свёл концы с концами?» [12, 182]. В октябре в коллективном письме Лунцу на тему романа Федина высказывается Зоценко — естественно, на языке мещанского стиля: «Федин романы пишет. После него мой стиль пропадает» [12, 185]. В октябре же Тихонов сообщает Лунцу: «**Костя Федин** хорошеет. Кончил первую часть романа: читал. Хорошо. Немного стиль в иных местах отдаёт спокойной стариной — но это ничего. На такой роман руку поднял храбрый муж — во цвете и силе. Добро ему» [12, 189]. 20 октября в письме к Лунцу Л. Харитон рассказывает о прошедшем у серапионов чтении Фединым новой главы из романа [12, 192]. 2 ноября Слонимский сообщает Лунцу: «Федин романа не кончил, но новые главы есть» [12, 198]. 11 ноября Федин рассказывает Лунцу: «Мой роман движется медленно. Как я тебе говорил, концы сведены уже давно. Я осуществляю прочный и цельный план. Но осуществляю со всей медлительной осторожностью. <...> Но теперь меня мучит тема для рассказа в духе “Сада”» [12, 205]. 14 декабря Каверин — Лунцу: «Костя всё тот же — умный, твёрдый, ясный и благородный человек. Я люблю его крепко. Роман его имеет успех — хотя ещё не напечатан. Он читает его чудесно. Дамы, с непривычки, дрожат от силы голоса» [12, 223].

Отмеченные Вс. Ивановым уверенность и «размеренность» Федин демонстрирует, пожалуй, только в письмах к Горькому и Лунцу. Так, 7 апреля 1923 г. он сообщает Горькому о скором завершении работы над романом и даже предлагает прислать главы из романа: «С прошлого лета работаю над романом, который начну печатать не раньше осени. Речь веду о плене в Германии, о революции в уездной России, о том, что видел и знаю. Знаю, конечно, “по-своему”» [6, 472]. Однако до поры до времени Горького роман

об интеллигенции, за написание которого взялся молодой серапион Федин, особо не интересуется (интерес придёт, когда у него самого начнёт оформляться замысел повести-эпопеи об интеллигенции «Жизнь Клим Самгина», в работе над которой ему пригодится и опыт романов Федина 1920-х гг.), а потому в письме Каверину от 25 ноября Горький сообщает: «О романе Федина — ничего не знаю...» [12, 211].

Самому Федину, в отличие от его собратьев, было явно не до шуток: концы с концами в работе над романом не сходились; назначенные им самим сроки окончания романа нужно было вновь менять. «До сих пор не написал и половины своего романа, — признаётся он Соколову-Микитову в письме от 25 июня. — Надеюсь в июле дописать до половины и осенью начать печатать. Ничего кроме романа писать не могу. А работаю над ним второй год и за это время не написал ни единого даже малюсенького рассказа» [11, 31]. С середины августа до конца октября 1923 г. Федин жил в деревне Кочаны у Соколова-Микитова, и именно там, в *тишине*, продвинулась работа над романом и родились два новых замысла: рассказ «Тишина» и совместный проект переписки «Кочаны — Петербург». 26 ноября в письме с предложениями по проекту «переписки» Федин сообщает: «Я сижу за “Тишиной”, роман лежит как бы в нетях» [11, 39]. Посмотрим на дату письма — ноябрь 1923 г. Дата весьма значимая для романа, где тема Германии занимает большое место. Осенью 1923 г. ожидали победы революции в Германии, что, безусловно, отпечаталось в набросках линии Мари, которую, как свидетельствуют приведённые выше материалы, Федин пытался сделать чуть ли не делегатом конгресса Коминтерна, сделать — вопреки правде прототипа героини. Уже в ноябре стало очевидно, что революция в Германии провалилась, что не могло не сказаться на необходимости внести коррективы в первоначально запланированные «немецкие» главы и в линию Мари. На этом историческом повороте работы над романом, когда воистину не сходились концы с концами, Федин пишет «Тишину» и, кажется, в это же время он вписывает в текст «Автобиографии», опубликованной в 1922 г., несколько абзацев об истории своей семьи: «Отец мой происходил из крепостных. <...> Мать была потомственная дворянка»<sup>1</sup>.

Сохранилась тетрадь с записями, датированными 14–27 сентября 1923 г. и сделанными в Кочанах. Среди разнообразных записей и набросков из деревенской жизни для нас важны прежде всего записи, относящиеся к замыслу «Тишины»:

«М. б. взять разорённого помещика, к-рый “не ушёл, остался”. Он ходит в тишине, не жалуется, живёт, как может. Потому что над злобой, над революцией и прочем, что было, конечно, в деревне есть большее: это — тишина, те изначальные отношения, которыми держится мир (Оставить их нельзя). Это отношение к земле, полю, лесу. И тишина — не человеческая, а тишина земли, поля, злаков. Оставить её из-за злобы, из-за разора — нельзя. И грустно такому человеку не потому, что у него нет ярицы, а потому что ярицы нет на земле (нет вообще)» [10].

<sup>1</sup> Вписано в текст «Автобиографии», представляющей вырезку из «Литературных записок» (РО ИРЛИ. Р I. Оп. 31. Ед. хр. 1. Л. 1–2).

Это размышление Федина напрямую корреспондирует с судьбой героя романа, который тоже ведь «не ушёл, остался», однако с другим финалом жизни. Хронологически в рассказе представлен тот же, что и в романе, период шести-семи лет жизни одной русской деревни со всеми прошедшими через неё историческими катаклизмами времени, при этом в рассказе доминирует тихая элегическая и мирная евангельская интонация. «Тишина» по интонации, да и по внутреннему сюжету, очень бунинский — суходольский — рассказ о том, как приходит и обретается героями то прощение, о котором мечтает Старцов: мужиками — бывших бар, Таисией Родионовной — обманувшего её Александра Антоновича. Рассказ завершается идиллической картиной мирного труда бывших бар и мужиков... Для романа подобное решение было просто невозможно — и по правде жизни и истории, и по правде героя, который был обречён исторически и наделён автором своей трагической судьбой. Однако именно «Тишина» высвечивает эстетический и философский идеал самого Федина, формируемый прежде всего русской классической литературой. Заметим лишь, что эта тихая интонация отличает и последующий творческий путь Федина, одного из самых неагрессивных мирных писателей в истории советской литературы.

В 1923 г. отрывки из романа печатаются в самых разных журналах. Почти весь год Федин перебирает старые и сочиняет новые заглавия романа. К трём уже названным (дольше всего держалось заглавие «Семь лет») добавляются: «Упавшее небо», «Бурелом», «Побеждённые» и др. Окончательное заглавие — «Города и годы» — было выбрано в Кочанах и датируется 22 августа 1923 г. (см. Приложение 4).

Обещанного в 1923 г. завершения романа не произошло. Роман переместился на новый 1924 год. 26 января Соколов-Микитов напишет Федину об отказе от проекта переписки, прямо указав на причину своего решения: «Я обдумывал нашу “переписку”, и мне кажется, что это почти неосуществимо. — Можно бы переписываться на философские, на литературные, на религиозные темы, — но мы думаем описывать действительность и наше настроение и отношение к действительности. Невозможно — просто невозможно» [11, 45]. В мартовском письме Соколову-Микитову Федин впервые, пожалуй, говорит не только о внешних обстоятельствах, не позволявших завершить роман (необходимость зарабатывать и редакторская служба), но и о внутренних, писательских:

«Задача моя — протянуть до лета, окончить роман, уехать. <...> И потом — надо, непреренно надо окончить роман, потому что нельзя же топтаться на одном месте, как бы оно ни было хорошо. Надо всё время двигаться. Недаром в разгар выдумок, трюков, на какие я только способен (у меня будет вполне толковый роман, с началом и концом, на русском языке, но весь он — опыт, попытка, проба, и я устаю от него, хотя и вписываюсь в него) в разгар экспериментальной работы над собой и своей сущностью, приходит желание написать “Тишину”. Я окончил её, она вышла, по-моему, удачной, и вовсе не сухой, как показалось тебе. Серапионы были сбиты с толку: не могли уяснить себе теоретически — отход ли это к окостеневающей форме Бунина, измена — стало быть — роману, или только этап, веха на пути к новой форме. Разговору было много. А мне захотелось тем временем написать новые “заметки” о твоей деревне <...> Всё это к тому, что надо кончить роман, отдать ему всё, что у меня есть экспериментаторского, непокойного, пусть высосет, возьмёт, пусть оставит меня запахам дня» [11, 51].

В связи с проектом переписки, инициатива отказа от которого принадлежала Соколову-Микитову, Федин парирует его тезис, что публиковать правду о действительности (а переписка планировалась к изданию) никто не позволит: «Писать можно и о действительности — почему нет? Надо описывать не отношение наше к действительности, а преломление её в нас, её самое через наши души» [11, 52]. Это ответ уже умудрённого литератора. В письме указан новый срок окончания работы над романом: «У меня расчёт: к 1-му августа я должен окончить работу, написав за 5 месяцев 7–8 листов. Тогда с 1-го августа я свободен и уезжаю» [11, 51].

В ответном мартовском письме Соколов-Микитов слегка отрезвит Федина и даст, может быть, самый адекватный ответ на мучительные «непокойные» вопросы самого Федина о его романе и герое, для которого не оказалось места в современности:

«Частенько мне кажется, что мы — наш возраст — самые несчастные из живущих ныне (разумеется, из тех, чья шкура не годится для выделки спиртовых подошв) — мы не можем забыть, и война выглодала лучшую половину жизни. — В тебе, в себе, во всех нам ровесных я вижу какую-то надсекнутость (ежели только у меня это не от мнительности и от “одичания”), “обречённость” — точно колесом перееханные. Вот почему так тянет меня к мужикам, в нашу “тишину”, в дупло — колесо мужика миновало и, если не миновало, — потерпел он на разряд меньше, оброс новой шерстью, а мы бесприкаянно, до самой смерти, ходить будем голыми, “плыть на льдине”. В сущности, революция для интеллигенции и была этой льдиной: оторвались от народа, от всего, и поплыли — ничего не примечая, покуда не растаял под ногами лед. И вся революция — Москва (тут у нас так и мыслят, так и представляется — есть Россия (деревенская), что соединена с миром и миром, и есть Москва (городская) — что соединяется с властью, и вечной войной) — тоже “плывёт на льдине”, оторвавшись от берегов, и Петербург, и “новая литература” — так мне это думается, из дупла — и, разумеется, я знаю, что “запах” моего дупла не есть запах проходящего часа...» [11, 57].

Лето 1924 г. проходит у Федина за завершением романа. Об этом 22 июня сообщает Каверин Горькому: «Здесь насчёт новой литературы — тихо. Серрапионы разъехались на лето; за последнее время никто не писал ничего нового — кроме Тихонова, который работает неустанно, и Федина, который медленно, раздумчиво, осторожно кончает “Города и годы”» [12, 307]. Нам представляется, что работа над романом в июне-июле уже была завершена, и Федин занимается общей редактурой текста: уточняет композицию романа, сокращает количество подглавок, по-новому складывает из написанных глав и подглав общую рукопись романа, работает с вариантами эпиграфов (Приложение 5). «Я отодвинул в сторону свой роман, который начал угнетать меня, и *бросился* писать вам» — этим вполне понятным признанием начинает Федин 16 июля большое письмо Горькому с подробнейшим рассказом — о работе каждого из серрапионов, общей литературной ситуации в издательствах, объединениях, журналах Петрограда-Ленинграда и Москвы и т. п. Сама умиротворённая интонация письма свидетельствует, что муки с романом уже закончились. О самом романе и работе над ним Федин уже не просто рассказывает, а повествует с эпическим спокойствием, упоминает он и о рассказе «Тишина» с указанием, как должно читать этот текст (это опять тот же случай, когда автору смеем не во всех оценках доверять):

«Это — единственный рассказ, написанный мною во время работы над романом. Написал я его после житья в Дорогобужских дебрях, в деревне, где ещё жгут лучину и верят одним колдунам. Он вышел чуточку старомодным, в роде “Сада”. *Я отдыхал в нём от тряски и ухабов романа, в котором ещё не всё отстоялось и многое не отстоится вообще.*

Этот роман занимает меня целиком вот уже почти два года. Сейчас я оканчиваю его, в августе сдаю в набор. Выйдет он осенью, сразу книгой. Кое-какие главы будут напечатаны в журналах, но целиком провести роман в журнале не удастся. Название его — “Города и годы”. Материал — война и — отчасти — революция. На три четверти роман германский: действие развивается в немецком городишке, на фоне обывательского “тыла”. Я до такой степени влез в Германию, что сплошь и рядом не пишу, а “перевожу” с немецкого, думаю по-немецки и чувствую. Когда перехожу на русскую землю, к русским людям, к русской речи — испытываю непреодолимые трудности: чужой материал! Я попробовал в этом романе сдвинуть пласты общественного материала механикой авантюрно-романтического сюжета. Но я — не Каверин, не часовщик и не математик, и — вероятно — расчёты мои очень часто неверны: то чересчур много общественности и мало авантюры, то наоборот. Композиция — самая трудная на свете вещь. На первый взгляд в большом романе (“Города и годы” будут по объёму листов 17) легко спрятать концы в воду, а на деле, наверно, всякая лишняя косточка торчит и выпирает корявой стрехой (курсив наш. — *Н. К.*)» [6, 474–475].

Федин уменьшает сроки работы над романом, пишет о собственном романе, как бы уже предвидя серьёзные возражения Горького, которому глубоко чужды и идиллическая «Тишина», и толстовско-достоевский Старцов, и тем более Лепендин. О проекте «переписки» с Соколовым-Микитовым и новых заметках о деревне он даже не упоминает. В письме Горькому от 7 декабря, вдогонку к отосланному ему роману, Федин практически реконструирует «суждение» Горького о его романе, даже подтверждает его правоту и одновременно произносит своё «но»:

«В сущности, этот роман — всё, что я мог сказать об изумительной полосе своей жизни и жизни двух народов, с которыми связана моя судьба. Я припоминаю, как вы однажды сказали о пороке русских литературных произведений: во всех них отсутствует герой. Традиция оказалась сильнее меня, и как ни героична эпоха, о которой я писал, герой мой прочно удержал наследие своих литературных предков. Но я не ставил себе задачей героизировать лица своей повести, а только хотел показать характер эпохи и стремился сделать это правдиво» [6, 478–479].

После выхода романа в свет начинается новая — публичная — жизнь текста, складывается непростая история восприятия романа и героя современниками Федина — писателями, критиками, читателями. Но это уже другая тема. Мы пытались конспективно обозначить лишь некоторые вопросы, связанные с работой писателя над романом, и представить в публикации новые материалы его творческой истории.

### КТО ВИНОВАТ?

Двое гибко-мускулистых, литых из чугуна, обтянутых стальной кожей тел озлобленно наносят друг другу удары...

Чем свирепее нападает одно, тем ожесточеннее отбивается другое, чем лукавее и неожиданнее задумываются выпады, тем гениальнее оказываются отражения...

Наконец один из бойцов изловчается и разит противника решительным ударом в висок.

— За что ты нанёс ему этот удар?

— Если бы я этого не сделал, то этот удар получил бы я!

— А ты за что его хотел ударить?

— Чтоб он не ударил меня...

— Но почему у вас обоих на руках эти страшные рукавицы??

— Почему? Да потому что мы — профессиональные боксёры!!!

Мировая война???.....

Ноябрь, 1916

*(РО ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 1166. Л. 103. Машинопись)*

### НАСТРОЕНИЕ

Там в Бессарабии, в восточной Галиции ряд за рядом бегут серые герои в атаку. Падают или навеки, или подымаются и бегут снова наперевес со штыками с безумными, бессмысленными лицами, бегут за победой, за славой, за смертью. Их встречает ураган металлических шариков и ошметок, а они бегут за победой. Об этом можно говорить, это можно обрисовать с силою, которая изувечит душу, но охватить это умом, или представить себе — невозможно, как нельзя представить, что будет через миллионы лет. Но это терзает, гнетёт. И всё думается — прибегут к победе или расплятятся в вихре смертоносных гранат эти серые, безумные герои. И ещё. Что-то дикое творится на Руси. Оступение, гнёт и неправда небывалые, ужас страшный, точно смерть за воротами. Бедная страдальца! Есть ли выход у тебя, непонятная? Мозг леденеет от дум.

И вдруг...

— Хотите послушать музыку? — Мой сосед по комнате, вольноопределяющийся местного полка, инженер по профессии, с обворожительной улыбкой входит в комнату. — Что вы тоскуете! Пойдём ко мне; мой приятель — редкий игрок на цитре.

Цитры я не люблю — уж очень плаксивый инструмент и силы в нём нет, мощи... Соседа тоже не люблю — уж очень немец, мысли нет и фантазии, при разговоре пересказывает своими словами передовицы из гаденькой газетки. Но соглашаюсь.

— Позвольте представить — унтер-офицер такой-то.

— Очень приятно...

Вольноопределяющийся варит на спиртовке чай и извиняется, что у него всё слишком по-холостяцкому. За столом сидит чернявая немочка, видно, глупая, глупая — всё хихикает.

Цитра на столе чистенькая, гладенькая. У игрока лицо точно у вяземского мужика — корявое, усы в разные стороны, морщинки смешные, точно нитки из распущенного чулка, глаза хитро-добрые, светлые. И мне уже не жалко, что пошёл: такой хороший мужичонка, хоть и немецкий унтер-офицер. Пальцы у него ровные, длинные и белые, всё он улыбается, струны перебирает с любовью и ни словом, ни одним нехорошим словом не обмолвился, только предупредил:

— Очень давно не упражнялся. Немного трудно играть.

Сосед разливает чай сквозь ситечко, немочка хихикает до удивления глупо, а струны воркуют, серебрятся и звенят целомудренно. Цитра не хнычет и не жалуется, а рыдает, разрывается, словно всю печаль мировую на полноправных своих боках выдерживает. И лицо у игрока — немецкого солдата — похоже на мужичкое, умное и много горя перенёсшее. И всё точно где-то в России, в келье что ли какой, или в просфорне, чем-то даже пахнет таким церковным. Он играл какую-то шотландскую песню — странную песню, тоже напоминавшую русскую. То зарыдает, задумается, то успокоится, прояснится, загорится и разразится хохотом с присвистом, а потом опять упадёт и затуманится. Немочка, глядя, как танцуют по грифу белые пальцы, открыла рот, а вольноопределяющийся шепчет мне, чтобы не помешать музыканту:

— Сегодня ваших земляков видел...

— Военнопленных?

— Да. Врача и вольноопределяющегося.

— Ну?

— Ничего... Хорошо по-немецки говорят.

— Сыграйте ещё что-нибудь! — прошу я.

Вяземский мужичонка собирает лоб в гармонику и брякает тоскливо. Рокочут о чём-то милом бойкие струны. Ползёт вверх пар из чашки, окуроч дымит в пепельнице. Уютно и просто.

— У русских замечательно красивые песни, — шепчет мне сосед.

— Да...

Мучится неразрешимый минорный аккорд. У немца лицо усталое и больное. Выискивает, как бы передать загадку песни. И уже как будто разгадывает, улыбаться начинает, губы толстые свои приоткрыл.

— Вам, поди, скучно, — слышу я, — что вы целый день делаете?

— Читаю, пишу... — мямлю я.

— Это должно быть ужасно! — сожалеет он.

Что же ужасного — думаю я. Разве это ужас? Ужасно другое. Ужасно и... слова не хватает... Немец-солдат играет мне — русскому, может быть больше русскому, чем он сам немец — на цитре, и улыбается мне добро и ласково. Другой германский солдат наливает мне сквозь ситечко чай и сердится, что я не ем его печенья, и спрашивает, не скучно ли мне. И так всё просто и ровно. И каждый из нас — чувствую это и удивляюсь, что есть и такие немцы — боится говорить о том, что может обидеть, сделать больно. А там, в Бессарабии и в восточной Галиции обливают лавиной металла немцы русских и русские бегут навстречу смерти и несут с собой тоже смерть...

Немецкий унтер-офицер улыбается смешно голосистому звону цитры. Немочка хихикает и строит глазки, стараясь угодить всем нам троим.

— Хотите ещё чашечку, — обворожительно спрашивает бош.

Да будет всё проклято!

*Zittay, 1916*

*(РО ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 1166. Л. 17–18 об. Автограф)*

## И НА ЗЕМЛЕ МИР...

Две тысячи лет назад нашёл свои прекрасные формы на земле великий демократический идеал равенства и братства. Цель земного существования всего человечества была указана. Оставалось только её достичь. Оставалось только воплотить на земле идею, за которую было пролито так много крови: — идею любви...

И через две тысячи лет человечество запятнало свою совесть несмываемым позором страшной невиданной войны. Человечество, которое больше девятнадцати столетий считало себя носителем религии непротivления, обрелось в лоне церкви братства, церкви всепрощения!



Одно из многих евангельских изречений, исказивших весь глубочайший смысл гениально простого учения о любви, омрачивших всю абсолютную красоту христианства, гласит премудро:

«Кесареви — кесарю, богами — богу»...

В сотнях тысяч храмов, воздвигнутых во всех частях света, протестантские, католические, англиканские и православные служители церкви ежечасно воздавали богами богу. И все эти наместники Христа ежечасно благословляли войска и ежедневно освящали закладки муниципальных заводов, окропляли святою водою 42-х сантиметровые пушки и бронированные корабли...

Словно какой-то исполин-циник воссел на земной престол и нагло хохочет в страдальческий, искажённый от боли лик человечества. Подлым, жирным смехом:

— Ты думаешь, что ты достигнешь намеченную цель непротивлением? Кесареви — кесарю? Так благословляй же одной рукою то, над чем другая поднимется у тебя с проклятием! Проповедуй с амвонов и папертей любовь и братство и строй, строй ружья, пулемёты, пушки, митральезы! Строй! После обедни, где ты сказал проповедь на великую тему — «не убий» — спеши, спеши скорей в казармы, чтобы воздеть руки над головами, обречёнными на убой. Спеши, спеши! Ведь тебе нужно поспеть воздать кесареви — кесарю, не только богами — богу! Спеши!..

Подлый смех раскатисто и страшно носится над вселенной. Исполин-циник издевается над человечеством.

Безумие! Человечество запуталось, смешалось, пришло в тупик. Где же выход, где путь к прекрасной цели, поставленной две тысячи лет тому назад? Где?

И неужели мир, в котором поют дивные песнопения столетие за столетием, никогда не воцарится на земле? Неужели никогда не победит любовь?

О, да! Она победит! Но там, где говорят о победе, необходима борьба. Только в борьбе побеждают.

И «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Служить можно только или кесарю, или богу... тот путь, по которому шло до сих пор человечество, приравливая и приспособливая христианство для сокрытия преступлений и вопиющей неправды, этот путь пройден. Этот путь был усеян шипами, на которых висят клочья человеческого мяса. Этот путь устлан острыми камнями, залитыми потом и кровью. Этот путь привёл человечество на Голгофу.

Но за Голгофой следует Воскресение!

## I

Трагедии, подобные той, которая совершается сейчас в Версале, где англо-франко-американцы заключают, если так можно выразиться, мир с побеждённой Германией, — не видал свет, на протяжении всей истории. Простое физическое завоевание народа и обращение его в рабство — мера гораздо более «гуманная», чтобы употребить любимое выражение союзников. В самом деле, почему они называют версальские переговоры «мирными»? Неужели только из простой деликатности? Но разве можно назвать деликатным грабителя, который в то время, как он душит в тёмной улице свою жертву, галантно спрашивает: простите, вам воротничок не жмёт? Впрочем, союзники отлично знают, что с тех пор, как они начали блокировать германское побережье, немцев, могут надевать воротнички через голову, и если сейчас и раздаются вопли со всех концов Германии, то это объясняется не малым номером воротничка, а мёртвой хваткой английского бульдога.

Мирные условия, поставленные союзниками немцам, представляют собою историческое бесстыдство обезумевших от упоения победой шовинистов.

Никто, никогда в Германии, даже самые непримиримые враги союзников, не допускали и мысли о возможности, в случае поражения, предъявления подобных

требований. Эти требования всем слишком хорошо известны из газет, чтобы распространяться о них здесь. Эти требования невыполнимы...

И нам хотелось бы попытаться представить себе, какие последствия могут разыграться на почве версальских безобразий. Для этой цели необходимо бросить взгляд назад и посмотреть, какой путь прошла Германия и другие народы, участвовавшие в войне.

От прошлого к настоящему; через настоящее к неизбежному будущему...

В 1871 году в Версале — родине напудренных париков, придворных этикетов и неотразимого величия французского победителя — немецкий сапог наступил на горло Франции. Железный канцлер, кумир немецких фабрикантов и мещан, Отто Бисмарк одним росчерком пера уничтожил окончательно последнее обаяние напудренных париков, подписав мир, по которому Франция должна отдать Эльзас и Лотарингию и заплатить пять миллиардов франков.

Вскоре после этого в Германии почти не стало ни одного города, где бы не высился бронзовый памятник Бисмарку с мечом или саблей в руках. Это оружие можно было бы заменить акушерскими щипцами, потому что если Бисмарк был крёстным отцом объединённого германского капитализма, то он, безусловно, способствовал рождению милитаризма во Франции, Германии и других странах. Того милитаризма, который сделал мировую войну такой безжалостной и страшной.

Одновременно с версальским миром родилась во Франции идея реванша. Во всей Европе началась бешеная стройка всех видов судов, оружия, крепостей и пр. Франция лила пушки, чтобы отомстить Германии. Германия — чтобы не дать отомстить себе, Англия — чтобы не отстать от соседей и не потерять своего морского могущества, Россия — чтобы не оказаться слабее каждого из европейских государств и, главным образом, Германской империи. С каждым годом народы затрачивали больше и больше сил, чтобы вести огромные тяготы вооружённого мира. С каждым годом правительства расходовали больше и больше средств, чтобы доказать своим народам всю неизбежность вооружения и неизбежность войны. Война была действительно неизбежна, логически неизбежна, потому что всё благополучие старого мира строилось на фортах и держалось штыками.

Но человек создан верящим в добро. И ни одно правительство, зная природу человеческого духа, никогда не решалось бы сказать, что оно вооружается с целью захвата чужих земель, чужих капиталов и с намерением поработить чужие народы. Если бы это случилось, то такое правительство осталось бы без всякой опоры, за ним оказалась бы не дисциплинированная армия, а кучка грабителей и преступников. Поэтому все правительства империалистических государств непрерывно доказывали, что это *не они* хотят грабить, а на них нападают, их насилуют, их вынуждают защищаться. И в июле 1914 года трагикомедия достигла своего апогея. Сцепились в смертном бое люди, желавшие задушить друг друга, и клявшиеся, божившиеся и уверявшие, что они ни в чём не повинны, что они добрые, хорошие, святые и борются за счастье, свободу и справедливость. Англичане доказывали, что в войне виноваты немцы, немцы, наоборот, винули англичан...

Исполни-циник, восседавший на троне, сложенном из человеческих костей, демонически хохотал... А люди, жалкие, обманутые, с верой, что они защищают правое дело, шли на великие страдания, умирали, убивали, несли на своих хитроумных пушках ненависть и злобу...

Война раскрыла глаза слепцам. Они увидели, что их обманывали. Что кровь лилась не во имя достижения демократических идеалов, а во имя карманных интересов, во имя насилия и обмана...

Для тех, кто ещё сомневается в наступившем переломе и поэтому не верит в осуществление всемирного поворота именно в тот период истории, в котором живём

мы, для тех, кто не верит в близость момента, начиная с которого история человечества покатится по рельсам мира, а не по рельсам войны, по которым она бежала до 1914 года, — для тех особенно поучительно должно быть пережитое за последнее пятилетие Германией.

В этой стране выразилось наиболее характерно и выпукло то течение, под знаком которого европейские народы жили и развивались последние годы: милитаризм.

Вслед за Версальским миром Германия пережила небывалый хозяйственный рассвет. Этому, несомненно, способствовали и вновь приобретённые области, и полученные с Франции миллиарды, и проведённый Бисмарком союз дотоле разрозненных и незначительных немецких государств. За сорок три года мирного строительства Германия, путём умелой капиталистической политики, успела доказать на практике всем своим верноподданным, что удачно проведённая победоносная война — очень хороший «гешефт». Армия капиталистов, многочисленная армия купцов и ещё более многочисленная армия странствующих приказчиков-комиссионеров бросились на мирное завоевание иностранных рынков. По мере того, как росло материальное благоденствие, руководители народов, опираясь на очевидное, бросающееся в глаза довольство, наступившее после победы над французами, стали постепенно приучать массы к мысли, что достатком, сытостью и развитием хозяйственной жизни страны они обязаны исключительно политике своего правительства, сумевшего и сумеющего победить, в случае — избави бог! — наступит новая война. Школа была превращена в военную лабораторию, где изготовлялись массами «истинные патриоты своей страны». Школьная политика предусматривала все возможности, чтобы доставить государству человека, у которого на каждый вопрос был бы готов ответ, угодный политике общегосударственной. Из школы привыкший к дисциплине и мышлению чужими мыслями человек попадал в обработку прессы, певшей умилительные хоралы правительственной мудрости.

Целое поколение было выращено в таких условиях. Колоссальная организация, продуманная до последнего винтика, не позволяла подданному германского кайзера оторваться от уготованных ему шаблонов мысли и духа. И он шёл за школой, церковью, судом, прессой, полицией, кружками, обществами, партиями, как слепец идёт за поводырём, шёл под звуки гимна, начинавшегося и кончавшегося словами: «Германия превыше всего на свете»!

Ты счастлив, говорила германская политика своему подданному, но твоё счастье принесли штыки; если ты хочешь обеспечить его, ты должен держать в руках своих оружие. Потому что — смотри — кругом враги, у которых глаза горят, при виде твоего достатка, и стоит только тебе задремать от сытости, как тебя ограбят. Ты добр, ты не хочешь никому зла, тебе ничего не нужно. Но ведь ты — единственный в своём роде, тогда как все твои соседи злы и преступны. Конечно, война — это ужас, но ты не должен забывать закона железной необходимости!

В конце концов из германца был сделан тип сентиментального варвара, который всегда готов был прослезиться при мысли о том, что «он добр и справедлив» и впасть в дикую ярость при мысли о «неблагодарных преступных иностранцах», вынуждающих его «защищаться»! Государство принуждено, в силу закона жизни и природы человека, воспитывать и беречь в своих гражданах начало добра. Иначе невозможно никакое общество. Но государство прошлого, заставляя своих сынов быть «добрыми и покорными» внутри своей страны, воспитывало в них убеждение, что вследствие того, что другие народы хуже и преступнее его, он должен быть нещадным за пределами своего государства. В этом направлении успела, как мы уже сказали, больше всех Германия.

И когда неизбежное случилось и люди, как безумцы, начали истреблять друг друга, германское правительство могло только потерять руки от удовольствия: воспитание не прошло даром!..

## II

Нет надобности описывать то, что происходило в Германии до революции и, особенно, в начале войны. К услугам историка на книжных полках покоятся миллионы книг, отразивших в себе ту или иную черту Германии-победительницы. Интересно проследить те этапы, которые прошла страна от победного ненавистничества 1914 года до борьбы с большевизмом 1919-го.

Именно на Германии — стране, где меньше всего думали о перевороте — легче всего убедиться, что переворот всемирный неизбежен, как неизбежен восход солнца ранним утром.

Как один, бросилась вся Германия памятным летом на своих врагов. Государственный механизм, строившийся в течение 43 лет, был приведён в движение одним поворотом рукоятки на улице Фридриха в Берлине. Люди рванулись с пеною у рта защищать своё отечество от окруживших их «заговорщиков». Не было человека, который усумнился бы в разумности начавшейся вакханалии. И если бы такой человек нашёлся и поднял свой голос, то дыхание обезумевших масс испепелило бы смельчака мгновенно.

Война для Германии была победным шествием. Льеж, Брюссель, Антверпен, Седан, Лилль, Мобеж, целый пояс французских крепостей, целые провинции, целые страны очутились в руках немцев в течение двух-трех недель. Вот-вот должен был пасть Париж, за ним Петроград, за ним Лондон, потом — мир. Прочный, выгодный мир! Немцы упивались. Это было что-то необъятное, стихийное, страшное. Это был сплошной праздник, каких никогда не бывало в мирное время. Германия захлебывалась победами, предвкушая ещё более упоительное удовольствие, готовясь к заключению торжественного мира и всенародному признанию её величия.

Но этого не случилось. Другой народ, в котором горело ещё больше ненависти, чем в германце желания наступить сапогом на весь земной шар, другой народ нечеловеческим усилием приостановил бешеный бег германского колеса. Французы дали битву на Марне, и Париж остался за ними. Эта битва только приостановила колесо. В обратную сторону оно было повернуто значительно позже...

Началась окопная война. Успех оставался почти всё время на стороне Германии. Но война показала свою настоящую сущность, свой отвратительный, ужасный лик. Становилось всё труднее и труднее жить. Недоставало продуктов, не хватало материалов, останавливалась промышленность, увеличивались расходы, умирали люди, возвращались с полей брани калеки, и всё реже и реже приходили вести о победах. Былая уверенность в том, что мир будет продиктован побеждённым противникам, казалась уже мечтой. Но ещё горела вера в то, что мир вознаградит за все страдания и, главное, покроет убытки.

С какою постепенностью и насколько незаметно для широких масс просачивалась в общественную жизнь утомлённость и тоска по миру! Как трудно было признаться в том, что хочется мира, что силы тают, что руки опускаются! Но жизнь диктовала, жизнь повелевала, и через три года от немца, с пеною у рта оравшего, что «через неделю мы покажем, что значит нападать на мирную страну», не осталось ничего. Его подбодряли победы, действительные и бумажные, порой просыпалась надежда на победу окончательную, но сейчас же и угасала, как одинокая искорка, попавшая на камень. Жить становилось в тяготу.

Старожилы, помнившие ещё австро-прусскую войну 1866 года, жившие на тех местах, где она разыгрывалась — восточная Саксония, северная Богемия, верхняя Силезия, — перенёсшие все её тяготы, в раздумье заявляли, что такой нужды, какую приходилось испытывать уже на третий год мировой войны, они не знали, даже сидючи под пулями. Бывали войны, тянувшиеся дольше, поднимавшие также всю Европу на ноги, но ни одна война не истощала народы до такой степени, как великая всемирная война 1914 года. Через три года люди были захвачены настолько войной,

что мир казался несбыточной, невозможной мечтой. Мира не стало... В одной небольшой социал-демократической газете появилось стихотворение, в котором бабушка рассказывала внучке сказку, начиная своё повествование словами: «на свете был однажды мир»<sup>1</sup>... Да, мир стал сказкой, небыллицей, о которых старухи рассказывали детям, выросшим «на пайке», под треск барабанов и раскаты выстрелов... Голодным, хилым, не одетым детям.

У немцев, рвавшихся в драку, как звери, у немцев, метавших пламенные речи о «наказании» всех наций, появилась тоска по миру.

И вот в это время с востока впервые раздалось слово, которому уже не суждено сойти с человеческих уст и которое будет благословляться будущими поколениями:

— В России — Революция!

### III

Всё вострепелось, всё ожило в Германии, когда по свету прокатилось тысячеголосое эхо: Революция... Ближе к миру — почувствовали массы. И даже в прессе, не успевшей сразу сориентироваться на неясную политику правительства, словно против воли, проскользнуло это чувство — ближе к миру. И в мире, которого ждали от революции, уже не чудился мир, вдохновлявший Германию в медовые месяцы войны, а намечался сам собою какой-то особенный, новый, действительно достойный названия мира. Однако влияние правительственной политики на народ в то время хотя и ослабло, но не исчезло бесследно. Посредством мобилизации всех сил, находившихся в его распоряжении и к его услугам, правительство сумело ещё натравить широкие круги на вступившую в войну Америку. Но это был шаг отчаяния, шаг безвыходности, шаг последний. К этому времени не только радикальная партия независимых, но и армия большинства социал-демократов и даже умеренные буржуазные партии встали в оппозицию к зарвавшемуся правительству. Известный журналист, редактор ежемесячника «Будущее», Максимилиан Гарден<sup>2</sup> в статье, посвящённой вступлению Америки в войну, пророчески писал, что германские лейтенанты и юнкера напрасно громыхают саблями и стараются доказать, что война с Америкой не внесёт никаких изменений в создающуюся ситуацию. Наоборот, Америке суждено сыграть решающую роль в мировой войне и, в частности, в подписании мирного договора, и простая арифметика подсказывает, что, чем больше голосов за мирным столом окажется у союзников, тем труднее будет вести с ними переговоры. В этой же статье Гарден ясно высказывал свой взгляд на мир вообще и говорил, в связи с русскими событиями, что заря мира загорается на Востоке.

Мысль о мире, как грибок, попавший в благоприятную среду, стала неудержно распространяться... Но самое решающее значение в психологическом переломе германских масс имело значительно позднее заявление русских большевиков в Бресте, когда была объявлена демобилизация всех русских сил и в то же время к стопам германских генералов и экспертов был положен почтительный отказ подписать насильнический мир. С точки зрения политической, этот шаг был мудрейшим агитационным средством!

— Да, мы не хотим войны, — заявила русская революция, — и это — не лицемерие, не ханжество, не обман; и чтобы доказать это на деле и всенародно, мы разоружаемся. Но чтобы показать всему миру, что мы имеем дело с насильниками, а вовсе не с людьми, которые защищаются и ведут «навязанную» им войну, мы не подписываем с вами договора...

<sup>1</sup> Буквально — «в стране»: «Es war einmal im Lande Frieden» (Примеч. К. А. Федина. — *Н. К.*).

<sup>2</sup> «Zukunft», *Monatliche Zeitschrift*, Herausgegeben von Maximilian Harden (Примеч. К. А. Федина. — *Н. К.*).

Сами того не сознавая, немцы, не согласившись на неподписание мира, повели наступление на сложившуюся оружием Россию, сагитировали за революцию внутри своей страны гораздо больше, нежели русские. Уверить, что тобою руководят соображения гуманности, что ты защищаешься, и в то же время открыто идти грабить, не значит ли это заставить задуматься самого глупого и усумниться самого легковерного? Брест анатомировал перед глазами германских масс душу господствовавших классов, оказавшуюся алчной и падкой на наживы, будь эта нажива и простым, неприкрытым грабежом. Германский народ был уже измучен, истощён ко времени заключения договора в Бресте. И после него он окончательно изверился в своих правителях. Революция пришла и в Германию. Страна решила отказаться от безумия «войны до победного конца» и заключить мир, продиктованный разумом. Но этому не суждено было стать.

#### IV

Тем, кто бряцал саблями и красовался эполетами перед расчётливым американским профессором, не пришлось сидеть с ним за одним столом. Во главе с великолепной и смешной фигурой Нерона 20 века — кайзера Германии и короля Пруссии — все громовержцы немецкого милитаризма разбежались давным-давно по границам и провинциям. А те, кто надеялся на «единственно справедливого» человека, ставшего во главе союзников, жестоко разочаровались в своих наивных мечтаниях. Бостонский профессор и Вашингтонский президент Вудро Вильсон вдруг улыбнулся своею коммерческою улыбкой и неожиданно обнаружил ряд крепких, здоровых и крупных зубов. Четырнадцать пунктов его мирных условий, на которые немцы с некоторой поспешностью, понятной, впрочем, в их положении, были вынуждены согласиться, потерпели моментальную метаморфозу.

— Совершенно верно, — сказал американский профессор, — четырнадцать пунктов... Но они, видите ли, не про вас писаны...

Версальские переговоры — это какое-то утончённое издевательство победителя над побеждённым. В том самом Версале, где поставленная на колени Франция подписала насильственный акт, теперь бывший насильник бьёт челом новым господам положения, унижается, молит о пощаде, просит живота.

Но не было ещё на свете раба, который, стоя на коленях перед своим господином, вымолил бы себе право свободно дышать. И германские либералы не вымолят этого права у своих новых помещиков; Германия стала крепостной, стала обречённой... Версаль — второй «мир», заключаемый старыми государствами. Истощённая Германия не может удовлетвориться подобным миром. Она требует другого мира, мира демократического, мира равенства, свободы, братства. Когда же наступит он, когда вздохнут с облегчением измученные люди? И наступит ли он?

То, что пережито за эти годы Германией, пережито и другими странами Европы. Народы истощены. Смерть, голод и болезнь пронесли по всему старому свету. Всюду нищета, всюду безработица и страшная, нечеловеческая усталость. Тоска по миру, гарантирующему свободное, здоровое развитие, в одинаковой степени сильна у всех народов. Все жаждут мира, как влаги пустыня. И ни один народ не удовлетворяется мирным договором, вторгающим его снова в кабалу «вооружённого мира», когда призрак войны неотвязно стоит перед глазами каждого и над головами детей, не знающих радости, висят дамокловым мечом казарма, пушка и окоп.

Страны-победительницы напрасно думают, что они сумеют «возместить» убытки. Разве можно вернуть матерям, жёнам и детям — миллионы сгнивших в неведомых ямах-могилах сыновей, мужей и отцов? Разве можно вернуть миллионам калек оставленные на чужбине руки, глаза, потерянное здоровье? Разве можно возместить подрастающее поколение новыми силами, миллионы пленных — новыми

радостями, миллионы сумасшедших — новых рассудком? Разве, наконец, можно восстановить распылённые в воздух богатства? Нет, правительства стран-победительниц стоят перед той же безысходностью, что была причиной гибели правительств стран-побеждённых. Война 1870–71 года продолжалась несколько месяцев вместе с переговорами, и Германия, получив с французов груды золота, могла тогда замазать свои царапинки и самодовольно упрочиться, как внутри, так и вовне. Но настоящая война нанесла не царапинки, а вскрыла вены, и кровь хлещет из нас, как из рукава. Никакое золото, особенно такое дешёвое, как теперь, не в силах остановить этого кровавого потока, и ни один праздник, устроенный в Лондоне и Париже по случаю победы над немцами-варварами, не удешевит цен на хлеб и не заткнёт рта ни одному голодному ребёнку!

Чтобы преодолеть великую разруху, чтобы успеть перетянуть вскрытые вены, пока народы истекли кровью, чтобы залезать бесчисленные раны, нужно всему свету — не только одной Европе, — дружно взяться за единое дело восстановления и созидания. Нужно уничтожить границы, разорвать все договоры, тарифные и пошлинные, морские, и сухопутные и написать новый, из четырёх слов:

— Земля образует единую Республику...

Пока же существуют Версали и Бресты, люди будут умирать в тоске по миру. Будут умирать одинаково и победители, и побеждённые, будут мучиться, голодать и нищенствовать.

Неумолимой неизбежностью стоит этот выход перед всеми народами. И путь, ведущий к этому выходу, одинаков для всех наций: путь свержения классов, мечтающих о возмещении, реванше и силе оружия, путь принудительных мер по отношению к людям, намеревающимся поладить с прошлым, прийти с ним к соглашению, путь диктатуры масс, восставших во имя царства мира.

## V

Но будем смотреть в глаза истине. Мы переживаем самый тяжёлый момент человеческой истории. Нам, наверное, не суждено увидеть воспря<ну>вшее от великих недугов человечество. Нам трудно, необычайно трудно жить с сознанием, что путь осуществления демократических идеалов свободы, равенства и братства идёт через диктатуру. Но нам очевидно, что этим идеалам противостоит объединённая сила, которую нельзя убедить и нельзя разжалобить. Силу должна победить сила. И если мы хотим, чтобы наши дети, внуки и правнуки не корчились в предсмертных судорогах, отравленные ядовитыми газами в окопах, если мы хотим, чтобы они не хирели в сырых подвалах фабричных посёлков, если мы хотим, чтобы они не умирали на третий день после рождения, не находя молока в груди измождённой матери, — тогда мы *обязаны* терпеливо перенести все страдания, уготованные нам нашими предками. Несомненно, для самих масс, осуществляющих сейчас диктатуру, эта диктатура более тягостна, чем для классов, против которых она направлена. Потому что именно массы знают и чувствуют глубже идеалы, за которые они борются. Старая революционерка Клара Цеткин говорит в своей статье «Через диктатуру к демократии»<sup>1</sup>: «Диктатура пролетариата имеет своё историческое оправдание в том, что она проводится в интересах огромного большинства народа и представляет собою *исключительно переходную меру*, с целью встать на ноги и сделать возможным осуществление идеала демократии: свободный народ, на свободной земле, за свободным трудом». И в той же статье, говоря о Советской Республике, К. Цеткин заканчивает: «... в то время как путь правительства двух революционных периодов

<sup>1</sup> *Klara Zetkin. Durch Diktatur zur Demokratie. Welt-Revolution. № 51. 1918. Перевод и курсив автора (Примеч. К. Федина. — Н. К.).*

шёл от прекрасных идеалов демократии к грубой и жестокой действительности диктатуры, *путь господства Советов поведёт от грубой и жестокой действительности диктатуры к прекрасному и осуществлённому идеалу демократии*.

Непротивление привело нас на Голгофу. Сейчас мир переживает ещё крестные страдания. Но если мы хотим избавить от вечного распятия наши поколения, мы должны отказаться от тактики непротивления и не воздавать более кесареви кесарю. И тогда новая религия, религия осуществлённого братства, словами старой, умершей и чуждой, скажет, наконец, облегчённо, на древнем языке:

«И на земле мир, в человеках благоволение»...  
(Журн. «Отклики» (Сызрань). 1919. № 6. С. 6–13)

## Приложение 2

### <Записи>

<Л. I/1><sup>1</sup>

[Зачатье] **Семь лет**

Проволочный

человек

Начато

в мае месяце

28-го числа 1922 года

<Сверху листа поздняя запись синим карандашом:> Окончено — «Города и годы» — 25/IX1924<sup>2</sup>.

Вторая родина	<u>Материалы</u> Начато в мае месяце 28-го числа 1922 года
---------------	--

Петербург 1919 — ночь — ноябрь.

Человек несёт за плечами котомку с мороженой картошкой.

Человек останавливается у недостроенного. Со страшными усилиями отрывает доску от гнилых стропил, тащит её на плече, озираясь: видел милиционер?

Человек тащит котомку и доску. Думает о Петrarке, Возрождении, о буржуйке и картофельных лепёшках, о Микель-Анджело.

Человек — писатель.

Дома, на столе в хранимом хламе бумаг такая:

(Уведомление отдела изящных искусств Парижской Академии, об [изобра] отзыве о его — человека, писателя — книгах, данном на заседании... etc).

Книга о войне, любви [,] и революции [и бандитах.]

У писателя лоб изрезан морщинками. По морщинкам видно, как бежит, извивается его мысль, когда он говорит.

Весь писатель — в кулачок.

Сухой, выжатый, точно его подержали под прессом [товаром], как копировальную бумагу.

1914.

«Колоколец жареной сосиски колбасы»

«Bratwurstglocklei — как это глупо.

Но это очень древне и (потому?) мило. Когда-то м. б. били там в колоколец, когда в завтрак готовили жареную колбасу, и ремесленники — мастера — шли в кабачок, подле костёла. Это ещё до Лютера. Это в католическом Нюрнберге.

<sup>1</sup> Записи сделаны чёрными чернилами. Авторская нумерация листов римскими цифрами (I–VII) проведена не до конца и поэтому не совпадает с архивной. В публикации переход с одного листа на другой обозначается двумя прямыми линиями: ||.

<sup>2</sup> На последней странице автографа романа имеется следующая датировка работы над романом: «1922–1924, сент. / 28.V — 1922 | 25/IX — 1924» (РО ИРЛИ. Р1. Оп. 1. Ед. хр. 124. С. 533. Л. 546).

<sup>3</sup> Рамс — карточная игра, как и очко.

<sup>4</sup> Имеется в виду Сараевское убийство (убийство в Сараеве 28 июня 1914 г. эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, и его жены), послужившее поводом для начала Первой мировой войны.



Человек, писатель жарит лепёшки на железной печке, думает о Петрарке. Легко...

О сожительстве бандитов-анархистов с милицией и Ч.К. в одной деревне — в 20 в<ерстах> от ж.д. — «зоны влияния», условия «невыдачи», очко, рамс<sup>3</sup>, учитель, топограф.  
Пролеткульт.

Учитель, отец к-рого полет огород на корове.

Редиска с маслом, молоко и пиво с хлебом.

И вдруг Сараево!<sup>4</sup>

Разве есть на свете короли? Войска? Пушки? — Так в бурге, так на Пеглице, похожем на Венецию. (каналы).

Да есть.

И самые сильные войска — наши. Какая кавалерия! И самые славные короли — наши. Каков Вильгельм! Так в новом городе, в автоматах.

И учитель, раздувая ноздри, заиграв челюстями (а до этого — круглые щёки и толстые губы, всегда): — Я пойду, если того требует отечество.

Откуда это? Откуда?

-----  
Игра карандашом на зубах и на гребёнке. Русская. Бумажки Риты об искусстве и отношении к Луначарскому.

<Л. II/2>

Назвать БЫЛИНОЙ о семи годах  
разбить на песни — (части)

на стихи — (главы)

В начале каждой части: Песнь... о четырнадцатом.

Семь лет в одном: кровь, страдание и вера в воскресенье, в чудо, в мир, в покой.

Бывший вице-губернатор — железно-дорожный сторож на 32-й версте. Всю жизнь мечтал об этом: огород, одиночество. В сторожке на полках кожаные в потемневшем золоте томики Ж-Ж Руссо. Хорошо.

Только весной — скучно: кобель начинает любить, убегает на станцию, что в девяти верстах.

На станцию — каждую субботу за пайком.

Раз-два в полгода — в город. И тогда к писателю.

Пленные русские у немцев, коллекция вшей врача.

Пленные немцы у русских — Волга, Сибирь, Sibirien! Ужасная Sibirien! Коллекция бабочек австрияка; картины и поэмы.

Dieses mein Werk  
widme ich  
dem traurigen Gedenken  
einer märchenhungrigen  
Seele —  
Hanny Mrwa

О слезах над письмами русского — по-немецки.

О письме, запечатанном австрийской в печенье; это — у председателя австр<ийского> сов<ета> раб<очих> и иных деп<утатов> За вином и печеньем из Красного Креста.

Письма сына парикмахеру-отцу из  
Sibirien!

И вдруг — mir geht ganz gut... in Fille  
und Hulle...

Моим друзьям,  
спутникам **тяжких и прекрасных** дней петербургских —  
Серапионовым Братьям —

отдаю эту книгу.

<Л. III/3>

О зачатии новой Руси. Значит — о смерти старой.

Старый мир кончился после выстрела в Сараеве (дать Nurnberg). Кончилась с ним и Россия. Последующие семь лет — война, в России — революция — предсмертная агония, которой суждено продлиться ещё годы. Пусть. В 21-году зачалась новая Русь. Старая догнивает. В спёртой вони разложения растёт зародыш. Плодом он станет ещё не скоро. Пусть.

В чём он? В чём зачатие? И что зачато в смерти?

Человек, который научился прощать.

Научился на своей страшной ошибке: думал [*построить*] **ускорить приход** воскресень[е]я мечом (цель оправдывает средства — моя статья «И на земле мир»<sup>1</sup> — идеология этого разбора), но разбился, упал и понял, что ошибся жестоко и что враги его так же жестоко ошибались, что правд много, а истина — в дружбе, в прощении и мире, а не во вражде — (это интернационально).

Такой человек зачат в России в 1921 году.

Человек научился прощать, поняв, что прощение необходимо. Это вывод из его страданий. Внешне человек пришёл к этому выводу так:

1) Несправедливость стала очевидной каждому, кто не утратил чувства совести и способности видеть. В войну несправедливость предстала оголённой: социальное неравенство, рабство, диктатура класса.

2) Надо было восстать против несправедливости. Революция. Надо было сделать попытку осуществить новый справедливый уклад жизни. Социальный переворот. Надо было сломить упорство врага. Диктатура класса-победителя, террор.

3) И вот — навстречу друг другу: победа за победой и поражение за поражением. Революционная схема социальной справедливости оказалась верной и побеждала вопреки всему. Объективные условия, || <Л. IV/4> в которых росла революция, оказались непригодными для какого-то ни было бы социального уклада (крах у белых и у красных!): в нужде, нищете, болезнях скорее мыслима деспотия, чем коммунизм.

4) И вот: все силы на преодоление нужды; все силы на создание ценностей. И путь — техника, наука, новый проволочный человек — и это он — человек, который умеет прощать, потому что проволочному человеку нужна ассоциация, содружество, сотрудничество.

5) И вот: проволочный человек с мировоззрением Тимирязева — научным мировоззрением — сухой, металлический, быстрый, заводной человек, немного безумный, как и все пионеры, отводит клинок социальной борьбы в сторону борьбы с природой (одна батарейка Лакланше для меня дороже утопии Мора).

Ибо доколе у нас не будет в излишке средств борьбы с природой, орудий борьбы, до тех пор всякая наша попытка устроить мир и водворить в мире мир разобьётся на нашей нищете, — а нищета — предпосылка всякой деспотии —

как великая Р.С.Ф.С.Р. разбилась

(зацвела кабаками!)

на голоде, вшах и бездорожье.

<sup>1</sup> Статья «И на земле мир...» опубликована в издаваемом Фединым в Сызрани журн. «Отклики» (1919. № 6. С. 6–13), см. в составе данной публикации с. 29–36.

(Троцкий сказал: Первейшая задача социалистического строительства — борьба со вшами!)<sup>1</sup>.

б) У нищих и людоедов не может быть социальной справедливости; они (нищие) даются только управлению деспотов. А если и возможно в 1921 году равенство на Волге, || <Л. V/5> то только равенство шегулёвское <sic>, социализм Шегулёва <sic>.

И Маркс учил (может быть потому же?). Что социализм приходит, а не вводится и что предпосылка его — необычайное наличие средств и орудий производства, т. е. расцвет техники — которая ни шагу без науки — т. е. расцвет науки.

Приход человека, отстранившего проблему социальную до разрешения проблемы научной, приход человека проволочного есть Возрождение, Ренессанс и... победа Революции: ценою своей смерти Революция одарила мир проволочным человеком (для которого Лакланше<sup>2</sup> дороже Т. Мора), чтобы воскреснуть и победить, когда этот человек сделает своё дело

(построит свой элемент Лакланше<sup>3</sup>).

Вот что случилось в России —

(Россия станет новой Америкой — электрификация вовсе не Томас Мор, который — социальное равенство и братство. Справедливость — после электрификации) пришли проволочные люди, оценившие горечью борьбы, поражений и бесплодных побед (ведь победа революции оплочена параличом всего мира, так же, как победа военная на полях Франции) весь пустозвон громких и пышных слов об индивидуальной (буржуазной) и коллективной (пролетарской) свободах и справедливости в условиях быта Европы и особенно России.

Путь проволочного человека<sup>4</sup>: ||

<Л. IV/6>

Гнилой окоп, вшивый концентрационный лагерь, мурманские болота, где дошли пленные немцы, мазурские — где тонули русские.

2) Восстания в России и Германии, победа их, завоевания, провал.

3) Победа над Колчаками вопреки восстаний, вопреки голоду, вопреки отсутствию дорог.

4) После каждой победы — поражение в социальном быту. Усиление болезней, падение материальной культуры города, смерть города (мёртвый Петербург!) Замыкание круга первокабинности деревни.

5) Плуг, лампочка в деревне. Етг. Осознание главного: силы вещи над человеком!

<По левому полю резюме 5-ти пунктов>: Как это не смешно, как это не подозрительно в агитационном смысле! (Это — для эстетов и формальников).

Этот путь — кровавый, крестный, жертвенный, верный — однако. На нём препона. Она вот в чём:

<sup>1</sup> Имеется в виду программа борьбы за «новый быт», выдвинутая Л. Троцким в статьях 1923 г., опубликованных в газете «Правда» и составивших его знаменитую книгу «Вопросы быта. Эпоха культурничества и её задачи» (1923); см., например: «Борьба с “выражениями” является такой же предпосылкой духовной культуры, как борьба с грязью и вошью — предпосылкой культуры материальной» (*Троцкий Л.* Борьба за культурность речи // Правда. 1923. 16 мая).

<sup>2</sup> Французский инженер и изобретатель Жорж Лекланше (1839–1882), создавший в 1865 г. угольно-цинковую электрическую батарею, используемую в радиоаппаратуре, телефонных аппаратах, в электронных часах и т. п.

<sup>3</sup> Лекланше элемент — первичный источник электрического тока, назван по имени его изобретателя Ж. Лекланше.

<sup>4</sup> На обороте л. 5: «Лейтсин и сводки мировых событий (Восток, Запад, — число забастовок — продналог, транспорт, фронты — всё в числах, “нужны общие выводы, на которых строится политика в уезде” — он пишет предписания в редакцию газеты — делает политику. Голосов высмеивает»).

Люди, которые не могли стать проволочными, которые сильны по-своему, т. е. располагали всей культурой и верили в силу человека над вещью, пережили страшное. Культура материально ушла от них (была вырвана из их рук), вещь стала управлять ими.

(буржуйка, полено дров, пшёнka и академии, университеты, которые отняли у непроволочного человека вместе с каминами, поваром и паровым отоплением)

Очевидно, культура разбита, если...

(здесь всё, что так мучило русского горожанина и гражданина — от гнилой картошки, от пшёнki до Ч.К. и большевистской газеты).

Очевидно, всё сгубло, если победила Революция, победила деспотически (как только могла! ведь Керенский не победил же!), жестоко и не уступает, не уходит, правит, как деспот.

Отсюда — упадок. Отсюда — вера в чудо. Отсюда — сектантство, лампадка, икона, кликушество.

(Кликуши — писатели, врачи, адвокаты, кликуши — торговцы и спекулянты) ||

<Л. VII/7> Это — каркас — путь проволочного человека,

понявшего новое и сумевшего внутренне простить, и путь бесхребетного человека, не понявшего нового, возненавидевшего его и кликушествующего в вере в чудо.

Былина поётся параллельно о мире художника, который стал проволочным человеком, оставив страсть свою к искусству, вытравив её страстью к техническому деланию, созданию материалов, средств, орудий — (это его путь в искусстве тоже: сделать осязательным материал!) и мире прошлом, его умирании о «Саде», который — заброшенный — увял и Силантий, который возненавидел «недобрые песни» и выкурил детей из усадьбы.

Вот люди, о которых поются песни.

Андрей Старцов («Mitläufer»; центр романа)

Семён Иванович Голосов (Сёма, «Лало»), пред. исполкома

Товарищ [Лейтсин] **Покисен** пред. Уисполкома<sup>1</sup>, «гейнианец», пьяница, безукоризненный чиновник, огородник и садовод, учитель (Ч.К., нежный отец, плачет, когда его назначают предс.) из Хуови-мяки на озере Хэпо-ярви

Валя Орлянкина, купеческая дочь

Раиса Тверецкая, поповна Семидольские подружки

<Л. 8>

Человек ушёл с головой в книги — антирелигиозные, советские, партийные, подпольные; газеты, сводки, отчёты, журналы и вдруг —  
вдруг —

Этот человек видит, что все эти книги, листы, плакаты — сеют зло.

Каждое слово — зло.

Каждый звук — разжиганье страсти.

Страшно, ужасно человеку от того, что нет доброго слова и

он — партийный,

старый —

вдруг ищет в памяти:

Он писал сам книги, писал о книгах, всю жизнь — в книгах

Не странно ли — нигде нет такого простого слова — любовь...

и даже такие слова, как братство, свобода в книгах дышат злобой.

<sup>1</sup> Уисполком — уездный исполнительный комитет.

есть ли книга,  
где говорится  
о любви?  
И вот — с детства —  
                                евангелие.

И в груди плакатов, в кипах книг,  
брошюр, в целых стенах из газет человек  
вдруг *затих*, читая евангелие.

Всё это — может быть — через три  
года непрестанной, безумной работы...

Человечество прилагало так бесконечно много усилий к тому, чтобы развить в себе чувства, которые отличают его от зверя. Почти ничего не достигнуто в этом направлении. Чаше человечество хуже зверя; редко, почти никогда, лучше него. Что же будет, если из поколения в поколение мы будем вытравливать в себе возвышающее нашу душу чувство любви?

Der kürzeste Weg zu sich selbst (ist) liegt (der Weg) um die Welt herum

Русский пленный в Гросс-Пориче:

— Как бесконечен день;

Немец в Сибири:

— Не успею сделать!

<Л. 9>

<...> Голосов, Античкин, авиатор

На совещ. ревторойки решено отправить авиатора на разведку. Голосов приглашает авиатора; спрашивает можно ли «уронить аппарат таак...»?

— Да можно.

Какие гарантии, что вы вернётесь? — Я служу.

Лейтсин предлагает «заложничка». Авиатор холост.

Секретарь редакции (тот, что просит «посмотреть на расстрелы») предлагает взять в залож. актрису.

Авиатор летит. В пути портится мотор; он вывинчивает части и возвращается. Ревторойка получает от него свед. о располож. противн. Признаёт его невиновным, актрису отпускает.

Авиатор актрисе: «Только, ради бога, не подумайте, что я вернулся из каких-ниб. рыц. чувств» — ? — «Просто [*скучно*] привык работать с красными: проще с ними, удобней...»

<Л. 9 об.>

О мощах, лаборантке и попе

(— Вам это больше не требуется, а мы для святой церкви) (а пред тем — в ретортах, колбах, на кислоту, на щелочь) и церкви под землю.

Анатолий Сутягин

Анатолий Евграфович

И дальше — из «Вавилонской башни»

Весь он — трус.

Трус пред Господом: всю жизнь — с детства — боролся с богом.

«Переборол» и... стал креститься на ночь под одеялом: думал, что уж так под- сидел господу бога своей философией, до того его — господу — довёл, что уж, конечно, он никогда не простит. А это — смерть как страшно!

Короткие, плохо сгибающиеся пальцы. Сквозь мягкие волосы пробивается лысинка — на затылке.

(*РО ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 1166. Л. 1–9. Автограф*)

**Глава, которая совсем не нужна читателю**

— Дорогой Виктор, ты [*напрасно*] **конечно, не** думаешь, что если бы у меня была вилла в Териоках, то роман, который я начинаю со следующей главы без всякого плана, оказался бы организованным произведением и мог бы быть одобрен если не Разрядом Изящной Словесности Российской Академии Наук, то по крайней мере Обществом Изучения Поэтического языка.

Но ты ошибёшься, если допустишь, что мною применён нехитрый приём тасовки глав, написанных до того в какой-нибудь человеческой последовательности.

Я утверждаю, что ни в одной из известных мне литератур не было произведения более бессистемного, более путанного по архитектуре, стилю и манере, чем моя книга.

И я утверждаю, что семь лет, в течение которых я искал форму для своего романа, укрепили меня в мысли, что

— отсутствие формы есть форма —

и что

— бесформенность есть такой же закон, как форма —

Я буду говорить о войне, национализме, любви и бандитах, о революции, большевиках, немецких булочниках и Башкирской кавалерии. Буду говорить о газетчиках и женских изменах, о самоубийцах и вице-губернаторах, художниках, монахинях и крестьянах. Буду говорить также о русском рабочем, германском редакторе, окаменевшей марк-графине и японских дипломатах.

И всё это не будет фельетоном.

Всё это не будет простым собранием военно-революционных эпизодов и картинок, а будет

— романом —

Может быть, потому, что я расскажу также о пленных.

Может быть, потому, что моя тема — плен.

Может быть, потому, что ничто, кроме чувства плена, не зудит так крепко в костях моих и в мозгу костей, даже тогда, когда я пишу о свободных людях.

В Москве большевики строят радиостанцию<sup>1</sup>, волны которой будут облетать вокруг земного шара. Станция будет говорить сама с собой. Вот когда первая волна чудовищного телеграфа, вылетев из Москвы, ужалит своей головой себя в хвост — щёлкнет первый замок на величайшем концентрационном лагере смерти.

Этот лагерь — тема Семи Лет.

И, конечно, Семь Лет — роман вовсе не потому, что от начала книги и до конца по страницам её прогуливаются, ходят, катаются, ползают на коленях и животах друзья, любовники, предатели, соперники Андрея Старцова, и сам он — Андрей Старцов, вечно пленный, вечно бегущий — стоит передо мною даже там, где о нём нет ни одного слова.

Я знаю, что ты громко посмеёшься, раскусив главу, совсем ненужную читателю.

Знаю, что тотчас по прочтении моей книги схватишь клочок бумаги и весело начертишь [*геометрическую*] **невиданную <ни> одним стереометром** фигуру, утверждая, что по ней, именно по ней, писал я свою книгу о революции, марк-графине, любви и озере Хэпо-Ярви.

Но, друг мой!

Если ты что-нибудь и докажешь, то только моё положение:

— бесформенность есть такой же закон, как форма —

(РО ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 1166. Л. 96–98. Автограф)

<sup>1</sup> Первая в СССР радиостанция — имени Нового Коминтерна — была возведена в 1922 г., вторая радиостанция Коминтерна была создана в 1927 г. на месте устаревшей и оборудована самым мощным в Европе передатчиком.

## Приложение 4

## &lt;Варианты заглавия романа&gt;

Еще ничего (!) не кончилось. 1922

Семь лет. 1922.

Бастионы, редуты, любовь.

(это можно для подглавки)

Позади нас.

Упавшее небо. (и это?)

Провинциальный роман.

(это тоже, для знакомства с Мари.)

Дамба.

Бурелом. Самое лучшее

(Буревал.) **«БУРЕЛОМ»**

Клубок. 13 мая 1923 г.

Побеждённые. 10/VI

Медленный огонь. 17/VI «Der Windbruck»

Города. Колода лет.

[*Сорванный*] мост.

<По правому полю:> «Города и годы» — 22/VIII 23

(РО ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 1166. Л. 10. Автограф)

## Приложение 5

## &lt;Эпиграфы к роману&gt;

<1>

Константин Федин

Семь лет

Роман

У нас было всё впереди,

У нас не было ничего впереди.

Чарльз Диккенс — Повесть о двух городах

[*Высокие и страшные испытания, из которых слабые люди выходят подлецами, а сильные — великими.*]

**Что касается вина,**

**то он пил воду.**

Виктор Гюго — Отверженные

Еще ничего не кончилось

Виктор Шкловский

(РО ИРЛИ. Ф. Р1. Оп. 31. Ед. хр. 124. Л. 15)

<2>

<Заглавие вымарано>

Роман

У нас было всё впереди,

У нас не было ничего впереди.

Чарльз Диккенс «Повесть о двух городах»

Что касается вина, то он пил воду.

Виктор Гюго —

[*Отверженные*] Несчастные

[Еще ничего не кончилось

Виктор Шкловский «Революция и фронт»]

Самое трудное было найти место (это ничьё место, но его; с этого же часа дни стали заполняться работой).

Кнут Гамсун — «Соки земли»

(РО ИРЛИ. Ф. Р1. Оп. 31. Ед. хр. 124. Л. 6)

<3>

Города и годы

Роман

У нас было всё впереди,

У нас не было ничего впереди.

Чарльз Диккенс [«Повесть о двух городах»]

Что касается вина, то он пил воду.

Виктор Гюго — [*Несчастные*]

Последняя канонада, как оглушительна она ни была, также не поразила меня, и как рассеялся пороховой дым и умолк гром пушек, так и всё это великолепие исчезло из моей души.

Вольфганг Гёте [«Поэзия и Правда»]

(РО ИРЛИ. Ф. Р1. Оп. 31. Ед. хр. 124. Л. 2)

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Аскольдов С. А.* Религиозный смысл русской революции [1918] // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М.: Русская книга, 1992. 432 с.
2. *Булгаков С. Н.* На пиру богов [1918] // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М.: Русская книга, 1992. 432 с.
3. *Бухарин Н. И.* Проблема культуры в эпоху рабочей революции // Правда. 1922. 11 октября. С. 3.
4. *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 10. Л.: Наука, 1974. 455 с.
5. *Каверин В. Э. Т. А. Гофман* (Речь на заседании Серапионовых братьев, посвящённая памяти Э. Т. А. Гофмана // Книга и революция. 1922. № 7. С. 22–24.
6. Литературное наследство. Т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка, М.: Изд-во АН СССР, 1963. 736 с.
7. *Пильняк Б. А.* Письма: В 2 т. М.: ИМЛИ РАН, 2010. Т. 1. 1906–1922. 567 с.
8. Письмо Б. Пастернака К. Федину от 9 сентября 1928 г. // Письма Б. Л. Пастернака — К. А. Федину / Публ. и примеч. Е. Б. Пастернака и Р. Лихт // Волга. 1990. № 2. С. 164.
9. РО ИРЛИ. Р1. Оп. 31. Ед. хр. 1. Л. 1–2.
10. РО ИРЛИ. Ф. 202. Оп. 3. Ед. хр. 75. Л. 5–5 об.
11. Свела нас Россия. Переписка К. А. Федина и И. С. Соколова-Микитова. 1922–1974. М.: КМК, 2008. 504 с.
12. «Серапионовы братья» в зеркалах переписки. М.: Аграф, 2004. 544 с.
13. Суд над церковниками // Петроградская правда. 1922. 9 мая.
14. Суд над церковниками // Петроградская правда. 1922. 30 мая.
15. Суд над церковниками // Петроградская правда. 1922. 6 июля.
16. Суд над церковниками // Петроградская правда. 1922. 9 июня.
17. *Тамарченко Н. Д.* О критерии художественности // Ленинград. 1932. № 8. С. 82.
18. *Толстой А. Н.* О новой литературе // Накануне. Литературное приложение. 1922. 11 июня. № 7 (62). С. 5–6.
19. *Троцкий Л. Д.* Литература и революция. М.: Политиздат, 1991. 400 с.



20. Трубилова Е. О «творческой воле» писателя (к изданию романа К. Федина «Города и годы» в серии «Литературные памятники») // Константин Федин и его современники (Фединские чтения. Вып. 5: к 120-летию со дня рождения К. А. Федина). Саратов, 2012. С. 45–56.
21. Федин К. Города и годы. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1933. 405 с.
22. Федин К. Избр. соч.: в 3 т. М.: Терра–Книжный клуб, 2009. 1568 с.
23. Федин К. Избр. соч.: в 3 т. М.: Терра–Книжный клуб, 2009. Т. 1. М.: Терра–Книжный клуб, 2009. С. 539–549 (Старков А. Н. Комментарии).
24. Федин К. Как я работаю // Литературная учеба. 1930. № 4. С. 116–117.
25. Чуковский К. Дневник. 1930–1969. М.: Советский писатель, 1995. 560 с.
26. Ширмаков П. П. Публицистическая и литературно-критическая деятельность К. А. Федина 1919–1921 годов // Творчество Константина Федина. Статьи. Сообщения. Документальные материалы. Встречи с Фединым. Библиография. М.: АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького, 1966. С. 267–294.
27. Шкловский В. Б. Гамбургский счёт. М.: Советский писатель, 1990. 544 с.
28. Шкловский В. Б. Ещё ничего не кончилось... М.: Пропганда, 2002. 464 с.
29. Шкловский В. Б. Письма М. Горькому (1917–1923 гг.) / Примеч. и подготовка текста А. Ю. Галушкина // De visu. 1993. № 1. С. 30.

## REFERENCES

1. Askol'dov S. A. Religioznyj smysl russkoj revoljucii [1918] // Puti Evrazii. Russkaja intelligencija i sud'by Rossii. М.: Russkaja kniga, 1992. 432 p.
2. Bulgakov S. N. Na piru bogov [1918] // Puti Evrazii. Russkaja intelligencija i sud'by Rossii. М.: Russkaja kniga, 1992. 432 p.
3. Buharin N. I. Problema kul'tury v jepohu rabochej revoljucii // Pravda, 1922. 11 oktjabrja. P. 3.
4. Dostoevskij F. M. Poln. sobr. soch. v 30 t. T. 10. L.: Nauka, 1974. 455 p.
5. Kaverin V. Je. T. A. Gofman (Rech' na zasedanii Serapionovyh brat'ev, posvjashhennaja pamjati Je. T. A. Gofmana // Kniga i revoljucija. 1922. № 7. P. 22–24.
6. Literaturnoe nasledstvo. T. 70. Gor'kij i sovetskie pisateli. Neizdannaja perepiska, М.: Izd-vo AN SSSR, 1963. 736 p.
7. Pil'njak B. A. Pis'ma: v 2 t. М.: IMLI RAN. T. 1. 1906–1922. 567 s.
8. Pis'mo B. Pasternaka K. Fedinu ot 9 sentjabrja 1928 g. // Pis'ma B. L. Pasternaka — K. A. Fedinu / Publ. i primech. E. B. Pasternaka i R. Liht // Volga. 1990. № 2. P. 164.
9. RO IRLI. P. I. Op. 31. Ed. hr. 1. L. 1–2.
10. RO IRLI. F. 202. Op. 3. Ed. hr. 75. L. 5–5 ob.
11. Svela nas Rossija. Perepiska K. A. Fedina i I. S. Sokolova-Mikitova. 1922 — 1974. М.: KMK, 2008. 504 p.
12. «Serapionovy brat'ja» v zerkalah perepiski. М.: Agraf, 2004. 544 p.
13. Sud nad cerkovnikami // Petrogradskaja Pravda. 1922. 9 maja.
14. Sud nad cerkovnikami // Petrogradskaja Pravda. 1922. 30 maja.
15. Sud nad cerkovnikami // Petrogradskaja Pravda. 1922. 6 ijulja.
16. Sud nad cerkovnikami // Petrogradskaja pravda, 1922. 9 ijunja.
17. Tamarchenko N. D. O kriterii hudozhestvennosti // Leningrad. 1932. № 8. P. 82.
18. Tolstoj A. N. O novoj literature // Nakanune. Literaturnoe prilozhenie. 1922. 11 ijunja, № 7 (62) P. 5–6.
19. Trockij L. D. Literatura i revoljucija. М.: Politizdat, 1991. 400 p.
20. Trubilova E. О «творческой воле» писателя (к изданию романа К. Федина «Города и годы» в серии «Литературные памятники») // Константин Федин и его современники

- (Fedinskie chtenija. Vyp. 5: k 120-letiju so dnja rozhdenija K. A. Fedina). Saratov, 2012. P. 45–56
21. *Fedin K.* Goroda i gody. L.: Izdatel'stvo pisatelej v Leningrade, 1933. 405 p.
22. *Fedin K.* Izbr. soch.: v 3 t. M.: Terra–Knizhnyj klub, 2009. 1568 p.
23. *Fedin K.* Izbr. soch.: v 3 t. M.: Terra–Knizhnyj klub, 2009. T. 1. P. 539–549 (*Starkov A. N.* Kommentarii).
24. *Fedin K.* Kak ja rabotaju // Literaturnaja ucheba. 1930. № 4. P. 116–117.
25. *Chukovskij K.* Dnevnik. 1930–1969. M.: Sovetskij pisatel', 1995. 560 p.
26. *Shirmakov P. P.* Publicisticheskaja i literaturno-kriticheskaja dejatel'nost' K. A. Fedina 1919–1921 godov // *Tvorchestvo Fedina*. S. 267–294;
27. *Shklovskij V. B.* Gamburskij schet. M.: Sovetskij pisatel', 1990. 544 p.
28. *Shklovskij V. B.* Eshhe nichego ne konchilos'... M.: Propaganda, 2002. 464 p.
29. *Shklovskij V. B.* Pis'ma M. Gor'komu (1917–1923 gg.) / Primech. i podgotovka teksta A. Ju. Galushkina // *De visu*. 1993. № 1. P. 30.